Владимир Аниканов

НОВИНКИ СОВРЕМЕННИКА

# Владимир Аниканов

РОМАН

Москва
«Современник»
1988

ББК84Р7
А67

**Аниканов В. И.**

А67 Отчий дом: Роман.— М.: Современник, 1988.— 190 с.— (Новинки «Современника»).

Московский писатель Владимир Аниканов — автор книг «Снежные барсы», «Имена и лица...». В своем новом романе «Отчий дом», исследуя характеры героев, размышляя о духовном состоянии человека, его устремлениях, исканиях, потерях и обретениях, он точно выбирает нравственную позицию, неизменно подчеркивает ответственность каждого перед обществом, Родиной, прошлым своего народа.

А $\frac{4702010200-106}{М106(03)-88}$ 25—89 ББК84Р7

ISBN 5-270-00653-7

© Издательство «Современник», 1988

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе своей берег.

*А. Твардовский*

# Первая часть

## Мечтатель

Я хотел поехать в деревню, к своим, поработать, в тишине поразмыслить о своем литературном будущем. Как всегда делал. И писать новое — делать свою работу. Тогда было еще начало лета, все, казалось, впереди. Я был спокоен, уверен в себе, в меру сдержан, строг к мужчинам, добр к друзьям, признателен женщинам. У меня были друзья и приятели. Но у меня не было любимой.

И вдруг случилось это. Произошло. Накатилось. Я встретил женщину! И неожиданно столкнулся с целым миром, незнакомым мне, о котором только догадывался. Мир этой женщины был мне неизвестен, непонятен, но вместе с тем так необходим, обязателен, как предначертание. Тут было, конечно, некоторое его насилие, сместившее мои устоявшиеся представления о себе самом, о будущем. Но все было кончено, все было сметено. И, очнувшись, понял, что обрел то, чего мне недоставало, без чего я бы мог, конечно, жить и дальше, но это случилось — мне была дана полнота жизни, и отказаться от нее было невозможно.

Но я все же сбежал, уехал, покинул на некоторое время эту женщину, не зная, можно ли было так поступать. Я поехал не к себе в деревню, да и время наступило уже осеннее, я все пропустил — жару лета, рост трав, беседы у костра на реке... Все имело вид странствия, привычного и такого для меня радостного. Как всегда.

Что же произошло со мною тогда?

Я сидел у своей приятельницы Надежды, художницы. Она рисовала цветы, поставив на колени доску с

пришпиленным ватманом. Изредка поглядывала то на меня, то на букет ромашек в банке на деревянном, не покрытом скатертью столе. Я люблю то внимание, с которым слушает художник, когда он за работой, и поэтому увлеченно рассказывал о своих планах на лето, о только что законченной работе, о задуманной повести и о том удивительном изгибе реки, где любил отдохнуть, прежде чем подниматься к себе в деревню. Я говорил о раскованности, что теперь во мне наконец присутствует.

Подруга тихо улыбалась, иногда вставляла слово в мою, как говорят на Севере, говорь, создавая живость так необходимого общения. Солнце как бы сквозило в окна, предвещая полдень и перелом дня. Я говорил, что скоро уеду в деревню, днями, что уже все приготовлено, уложено, что меня ждут там. Предлагал и подруге поехать ко мне. А она отвечала: «Какой ты, однако...», зная, что я не люблю, когда приезжают в деревню, где я работаю. Потому что обычно работаю там в уединении. И вспомнила свое путешествие на Мезень, где было холодно, и дождь лил не переставая, и свое одиночество, и неприютность, и неприветливость с виду людей, и наговоры, и даже что-то колдовское в их речи, и дикого мужика, что схватил ее в темноте амбара мертвой хваткой,— было страшно и жутко. Ее оградили от этих напастей — обогрели и приютили. А утром она проснулась на сеновале и в глубине чердака, куда проникал луч солнца, увидела деревянного ангела с поврежденным крылом, на коленях. Она тут же собралась в Москву и взяла ангела с собой.

Теперь он стоял в углу. Краску она соскоблила с него, открыв все прожилки, фактуру дерева.

Вдруг Надя — так звали мою подругу — сказала:

— Сейчас придет ко мне... одна милая особа. Ты не пугайся. По крайней мере на сегодня,— тут она, как мне показалось, слегка ухмыльнулась,— не нарушит твои планы. Будь, пожалуйста, к ней повнимательней. Она того заслуживает,— Надя сделала паузу.— Да ты и сам все увидишь, не слепой.

Я хотел возразить, как будто что-то уже предчувствовал, спокойствие во мне на мгновение поколебалось. Я ничего не ответил. Надя засмеялась перемене моего настроения и сказала, что действительно пора

в деревню, где я буду сидеть один с удочками под каким-нибудь раскидистым деревом и где никто не будет мешать работе.

Скоро раздался звонок в дверь, и моя подруга пошла открывать. Взглянув на меня, улыбнулась и кивнула головой. Этот кивок я запомнил надолго, как и ее улыбку. Я ждал, разглядывая акварель, оставленную на столе,— цветы были торжественны и праздничны. Я был снова спокоен. Ангел, деревянный северный ангел из тех мест, куда я собрался, был невозмутим.

Тогда мы были молоды. Тогда для меня было все ясно — ни тревог, ни сомнений. Впрочем, не совсем так.

Мир этой женщины обрушился на меня.

Уходящее солнце успело на мгновение осветить ее всю, все линии трепетного тела, и оставило ее одну властвовать здесь. Она тихо села рядом со мной, как-то пугающе близко (в то же время невинность была во всем ее облике), чуть наклонила голову и стала рассказывать о недавних днях, проведенных в Прибалтике, о дюнах, о солнце. Но то, как она говорила, как смотрела на меня, и то, какие тени и блики блуждали по ее лицу— все это действовало завораживающе. Что-то упоительное, ароматное, торжественное, праздничное было в ее словах.

Надя примостилась на сундуке и с удивлением разглядывала нас, и мне показалось, что она как будто объединяла меня и женщину. То же, что случилось тогда, в то мгновение нашего с и д е н и я, казалось, должно быть и невероятно смешным, и невероятно торжественным. При деревянном ангеле, при акварельных цветах на листе.

Вдруг я услышал голос Надежды. Она что-то сказала. Но я не понял ее, потому что мысленно был уже далеко отсюда— в лесах моих и полях. И все же я сделал над собою усилие, чтобы понять, потому что увидел в глазах ее упрек.

— ...Иди же! —повторила моя подруга.— Иди, погуляй, ты же хотел, а потом возвращайся, мы никуда не денемся. Приготовим тебе чай.

Это они обе заметили — мне нужна была передышка, чтобы вздохнуть. Я и сам это чувствовал...

Все было покончено с моей прежней жизнью. Не

помню, где я бродил в те дни, какие совершал круги и где мыслями витал. Помню, мы уже шли вместе, вдоль реки, по течению ее, в сумраке начинающегося лета, и это движение наше, путь наш, начало нашей жизни было долгим и трудным. Уже в темноте мы вышли к плотине, о существовании которой я не знал, не предполагал, опустились у самой воды на теплый еще гранит и там сидели в молчании долго, при свете луны и фонарей. Здесь начиналась наша жизнь, и ее надо было суметь прожить в той радости, с какой она началась.

Прошло время. Земля, пившая неоднократно сходящий на нее дождь, уже произрастила злаки. Мы готовились к свадьбе. И все ждали дня, чтобы приветствовать нас, плакать и смеяться.

И Маша ждала этого часа, чтобы предстать передо мной в страхе, трепете и нежности согласия — жены моей перед небесами и людьми. Вот-вот должно было состояться соединение двух миров... И вдруг, очнувшись от тяжести и боли, я понял, что не готов к этому, не могу, не в силах... Пошел к ней, чтобы сказать... Что сказать? Как рассказать ей о том, что дни мои стали не мои, что время, когда я жил без нее, стучится во мне, что надо уехать?.. Вот к чему я подбирался, к чему готовился внутренне. Но мне ничего не пришлось говорить, она сама взяла на себя бремя этого объяснения. Она как будто ждала меня. Она действительно ждала меня. Бледность, холодность, неподвижность. Она, как я понял, предчувствовала непредвиденное. Я запомнил на всю жизнь, как она тогда сказала: «Я думала, это навсегда...» Она не поехала провожать меня, ничего не хотела слышать, как будто меня уже не было с ней.

Я брел лесом, тем лесом, которым почти бредил в Москве. Пытался успокоить себя, мол, все образуется, когда вернусь, но шел-то я пока что совсем в другую сторону. Вспоминал ее образ, ее лицо с удивленными, грустными глазами... Что я наделал, как я мог причинить ей боль!.. Но разве мог я теперь вернуться! Я знал, что горе тому, кто в объятиях возлюбленной сохраняет гибельную зоркость и предвидит возможное расставание с ней. Я думал, достанет ли мне характера и чувства, чтобы больше никогда не

обидеть ее, не причинить ей боли. И буду ли я достойным ее защитником.

Я уже брел лесом, по давно наезженной дороге, свернул на нее с песчаника, чтобы никто мне не встретился. Видимо, все лето беспрестанно шли дожди. Да и теперь моросил по-осеннему мелкий, неторопливый. Я не остановился в том городке, Мифодьеве, почти мифическом, стольном граде этой округи, куда так стремился в начале лета, в городке, который любил, в котором провел столько дней с друзьями у озера, в дубовых рощах, у монастырских стен, где мы всегда пили прозрачную ледяную воду из источника. Меня гнало мимо, вперед и вперед, но к известной, ведомой цели. Потому я не только не остался там, не зашел ни к кому, но и выбрал путь совсем другой — не к той деревне, где меня ждали все лето, а отправился туда, где никогда не был. И теперь я шел под дождем и не знал, куда выведет меня эта дорога. Как раз этого я и хотел. Но телеграмму я все же успел отправить. «Иду к тебе» — так это звучало, в оправдание собственной слабости. Постепенно я стал различать в лесу и следы дороги и рытвины, когда пересекал просеку, тут не совсем забыт был человек. И что-то уже напевал, смотрел, где должно быть солнце, и прикидывал, сколько времени осталось до темноты, успею я куда-нибудь или заночую в стоге сена, в листьях, в шалаше лесоруба, уже подумывал, где бы сделать привал, передохнуть, развести костер и наконец поесть. И тут почувствовал — не услышал, а почувствовал — шорохи, чье-то движение сбоку от себя... Страх, настороженность, ожидание опасности, что, оказывается, помнилось с детства,— все это вдруг пробудилось во мне. Я слышал, чувствовал, как кто-то идет за мной. Хотелось не обмануться в предчувствии, что это был человек. Не встречный, не попутчик, а именно крадущийся за мной. Беспокойство птиц подсказывало мне, что это какой-то человек, а не зверь лесной. И не друг. Он преследовал скрытно, томился. Тут надо было ждать встречи. Мне, видно, предстояло испытание.

Открылась река, через нее деревянный, трухлявый мосток. Лес отодвинулся. Просторно и светло было кругом, как будто и дождь стороной лил, лесом, а здесь, над рекой, собрался легкий туман. Место для

встречи было идеальным, да к тому же возникла мысль о костре. Я сошел с дороги, бросил рюкзак у пеньков и стал собирать хворост. Время шло, я уже успел разжечь костер и сходить за водой, успел присмотреть и палку, которая могла пригодиться, и положил ее рядом; но преследователя не было, он не показывался, не нападал и даже не напоминал о себе. Может, все это было моей фантазией?..

На мгновение мне показалось, что я один, что никого нет, на всю округу, на все леса... Я отпил глоток чаю, но не удержался, крикнул: «Эй, кто там, выходи!» Что-то я еще кричал, призывая его. Эхо вернулось голосом моим, ответили гулом деревья, даже, казалось, вода в речке всколыхнулась. Я не долго думал, не долго собирался. И когда уже был на той стороне реки, прибавил шаг, снова послышалось мне движение — кто-то шел за мной.

Небо начало темнеть, вечерний ветер пронесся, обдав меня холодком, запахами дремучего леса, и тут я ощутил, что дождь вот-вот прекратится. В это время раскрылась чаща — ничем не ограниченное небо, возделанные поля под ним, а в излучине реки, в низине — деревня. Серебристо-серый цвет изб, голубоватый дым над крышами — начали топить на ночь печи — сливались со свинцовым горизонтом, и сам дождь был, казалось, необходимым. Все во мне ликовало — там был кров, там были люди. Откуда только у меня взялись силы.

В деревне, уже не спеша, прошел несколько домов и остановился у одного, который, как мне показалось, смог бы пригреть меня. Это было большое, древнее, хорошо сохранившееся строение в два наката, как здесь говорят, с двумя рядами окон по лицу, с двором, с березами, рябиной и липой у входа. И то, что здесь были эти деревья, и то, что дом, несмотря на свою громоздкость, не имел вида крепости, потянуло меня к нему. «Тут живут добрые люди» — так я сказал себе, поднявшись в сени, и постучал в обтянутую войлоком дверь. Никто не откликнулся. Да и стук был приглушенный. Но за дверью я слышал голоса и какие-то звуки, будто настраивали музыкальные инструменты. Еще поднимаясь в дом, оглянулся и заметил, как что-то серое метнулось за угол соседнего дома. Я еще раз постучал и открыл дверь.

Меня сразу обдало теплом и запахами приятными, тонкими — травы, лампадного масла и свежеоструганного дерева. Большая комната, весь дом, казалось, открылся сразу передо мной — окна и просветы чередовались равномерно, верстак в передней части и мужчина, склонившийся над ним, дальше — столы, и лавки, и буфет, и громада печи, и сияние икон, и ружья на стенах, а уже как будто совсем далеко — женщина в платке, что-то перебиравшая, перекладывавшая в огромном сундуке.

В первую минуту мое появление не было замечено.

Я ждал, любуясь слаженностью и складностью работы хозяев, как будто делали они одно дело. И в какое-то мгновение, когда я словно бы уже стал привыкать к этому дому и к мысли о своей к нему принадлежности, вдруг раздался голос, звучный и глубокий.

Хозяин расправил плечи, повернулся всем телом ко мне и, вроде изучая меня своими спокойными голубыми глазами, проговорил:

— Гость к нам, Екатерина Михайловна! Встретить надо! Кончим работы на сегодня.

Что-то необыкновенное было во всем этом, будто время ушло вспять, к моему детству. Момент был особенным, никогда в жизни не забуду этого.

— Кто будешь? — пророкотал голос хозяина, а сам он улыбался мне, прищурив голубые глаза.

Я как можно спокойнее, но и со всей силой звучания, подстраиваясь под его лад, произнес:

— Мир дому вашему. Я Василий, сын Иванов, странствую по здешней земле, невдалеке от родных мест. Приюта прошу у вас на ночь...

Засмеялся хозяин, засмеялась хозяйка — и опять звучно, радостно. Хозяин подошел ко мне, и я рассмотрел его лицо в морщинах, крупный нос, чуть вытянутый, и глаза... голубые до сини, почти как у всех северян.

— Милый человек! Будь гостем. Разоблачайся, мойся да садись к столу. Станем ужинать. Скрасишь наш вечер. А зовут меня Илларион Петрович. Хозяйку уже знаешь, слышал, как звать — Екатерина Михайловна.

Я повесил мокрую куртку на крючок у печи, вымыл руки, а Екатерина Михайловна подала мне хол-

щовое полотенце, вышитое крестиком по краям и на концах, где были еще прорешки. Она тоже улыбалась. Лицо ее было почти восковой прозрачности, она поглядывала и на меня, и на хозяина Иллариона.

Я вернулся на свое место, к лавке, где оставил рюкзак, и уже наклонился к нему, чтобы вытащить съестные запасы свои, и замешкался: а не обижу ли этим приютивших меня людей? Хозяин угадал мои намерения и сказал:

— Оставь свой мешок, пригодится самому...

И опять игривое звучание его голоса возбудило меня настолько, что я ответил громче, чем требовалось:

— Хочу, чтобы и моя доля была за столом.

Странное дело, в голосах хозяев слова звучали совершенно необычно. В них исчезла двусмысленность, неточность. Все было определенно, решительно.

Мы собрались к столу. На хозяине была толстая серая куртка с глухим воротом, откуда выбивался белый воротник рубашки. Седина его волос, аккуратно зачесанных назад, приглаженной бороды еще сильнее оттеняла удивительную синеву глаз. А Екатерина Михайловна — в кофте ручного вязания, тоже серой, из козьего пуха, с отложным воротником белой накрахмаленной рубахи. Что-то торжественное проявилось в их внешности.

Заметил я чистые половики, что вели к двери, за которой были верхние комнаты.

Сам стол, покрытый белой скатертью, уставленный кузнецовским фарфором, поражал обилием жареного, пареного, солений, приправ, варений. Здесь были и пироги с рыбой и грибами, и винегреты с солеными огурцами. Я обомлел. Постарался забыть, что за мной кто-то гнался, что меня кто-то подстерегал, что и теперь притаился, может быть, у самой двери.

— Ну что ж, приступим,— сказал хозяин.— Проводим уходящий день.

И тут как будто голос его стал тише, привычней для меня.

— Да уж и приступим,— подала голос и хозяйка.

— И проводим уходящий день,— поддержал и я.

— Откуда же вы? — обратился Илларион Петрович ко мне.

— Да вот...— произнес я невнятно. Откашлялся, проговорил тверже: — Странствую... Писатель... Познаю жизнь...

— Вот как,— поддержала меня Екатерина Михайловна, будто это была моя любимая учительница из давно забытой школы. И, собрав свои силы, внимание, начал с одного, перебрался к другому, обретая стройность того, что происходило со мной в жизни, стал вспоминать... Странное дело, пока я рассказывал о моем прошлом, о встрече у моей подруги Нади, о моем призвании и работе, во мне стало образовываться сознание того, что произошло. Я говорил о женщине, что вдруг стремительно вошла в мою жизнь. О том, что жизнь моя перевернулась и теперь ее надо выстраивать и перестраивать... Рассказал и о той тени, что брела за мною в лесах.

Они слушали внимательно, переглядываясь время от времени. Когда я заговорил о странном преследователе, Илларион Петрович неожиданно встал и вышел.

— Да,— сказала, подумав, Екатерина Михайловна,— и ты не поехал к своим в деревню. Жалко, время упустил. Помочь бы с сенокосом, в огороде... В самую грязь в наших краях угодил. Странствовать — хорошо... Да. Как тебе вернуться и с чем — вот что, я думаю, тебя должно беспокоить. Тяжело придется в пути...

За дверью послышался шум, будто кто-то боролся там, пытался кого-то одолеть.

Дверь в это время отворилась, и Илларион Петрович втащил в избу изо всех сил упирающегося чахлого человечка небольшого роста, похожего скорее на зверька, промокшего и продрогшего. Жалкий вид он имел. Я сразу подумал, что это и был мой преследователь. В глухом френче цвета хаки, в бриджах... В руках у него рюкзак.

Илларион Петрович подтолкнул его к печи. Екатерина Михайловна не поднялась из-за стола. Я застыл подле нее и ждал, что будет дальше, и думал, пытался разгадать, что могло все это означать.

— Ну рассказывай, Запечник, как ты «бандита» ловил. Опять баловал, опять «игру» свою затеял?

Тот молчал и с ненавистью смотрел на меня, а на Иллариона Петровича поглядывал с большим испу-

гом. Головка его маленькая как будто даже дрожала. Был он уже преклонного возраста.

— Ты не молчи, не молчи,— рокотал Илларион Петрович,— долго-то нам с тобой не о чем беседовать. Сколько ты будешь гостей наших пугать? Смердит от тебя, Запечник, давно... Нет тебе покоя...

— Ты никакого права не имеешь...— скрипучим голоском говорил Запечник.— Да еще при этом, постороннем. Откуда знаешь, кто он, что в лесу делал? И я так не оставлю, Илларион, хоть ты меня убей...

— Вот это ты правду говоришь — никогда ничего не оставляешь. Во все дырки лезешь, подслушиваешь, подглядываешь и еще оправдание себе ищешь. Сколько помню тебя... Мало осталось тебе...

— Зачем же так! При постороннем!..

— Смотри! — рокотал Илларион Петрович.— Хватит играть-то! А привел тебя, чтобы показать, какой ты, перед этим человеком, пускай гость не думает, что здесь такие, как ты, обретаются. Нет, таких, как ты, нету. И тебя уже давно нет. Сколько раз я тебе объяснял это...

— Опять бить будешь? — спросил и сделался такой жалкий, что, казалось, сейчас заплачет. Страх в нем был.

— Хм. Бить... Бить, пожалуй, не буду. Мерзок ты больно. Раньше надо было, теперь поздно, сам пропал, да и руки марать не хочется... На тебе ох сколько грехов...

— А я вам амбар спалю,— хихикнул ни с того ни с сего Запечник.

— Руки коротки. Да испугаешься, знаешь, что от меня никуда не уйдешь. Труслив ты — ниже твари... А теперь сказывай, зачем шел по следу этого человека?

— Отлежусь на печи, только крепче стану, жилистей. Тебя переживу,— Запечник опять вроде подхихикнул.— Ладно, скажу. Увидел его — мысль пришла. Дай, думаю, попугаю, да так попугаю, чтоб он заблудился. А потом вижу — паренек шустрый. Долгая с ним морока. Он меж тем у речки расположился, стал звать меня: видно, догадался, что кто-то рядом. Ох, я зол стал, думаю, в речку бы его скинуть да и утопить. Только вижу, что не осилю. Крепкий. Ну а если он шпион? А может, и бандит сбежал?.. Как бы его

оберечь и доставить... куда надо!.. Была бы моя прежняя власть... А к тебе, Илларион, пришел, чтобы поинтересоваться и запомнить, какие байки плетете. Уж было и начал...

Здесь Илларион Петрович прервал Запечника:

— И не стыдишься ерничать: мол, вот я какой страшный.

Я стоял в замешательстве и недоумении. Много вопросов родилось, но как их задать? Как спросить? Вид, наверное, был нелепый, растерянный, потому что Илларион вдруг от души расхохотался:

— Смотри, Запечник, пожалуй, Василий Иванович с тобой и сам расправится!

— У меня тоже имя да отчество есть,— криво ухмыльнулся Запечник.— А вот у этого, что стоит тут да на тебя глазеет, не мешало бы документики спросить, на паспорт глянуть. Кто он такой, чтобы по лесу шастать, может, здесь не дозволено, может, охранная зона какая...

Запечник этот хотя и имел вид жалконький, но, как я отметил для себя, вроде на скандал нарывался, словно бы надеялся, что из скандальчика могла выгореть для него какая-то, наверное, пакостная польза.

— Илларион Петрович,— решительно вмешался я,— успокойтесь. Пусть он идет на все четыре стороны. Неловко как-то, что из-за меня. Пускай...

— Ишь как заговорил,— взглянул на меня Запечник.— Видали мы таких когда-то, быстро расправлялись.

— Пожалуй, правда. Пусть идет, а то не сдержусь,— ответил Илларион Петрович.— Прости, перед тобой неловко. И ты, Екатерина Михайловна,— обратился он к жене,— прости.

— Бог простит, Илларион Петрович. Вот, правда, перед гостем нашим стыдно,— сказала Екатерина Михайловна и виновато взглянула на меня.

— Ну, ступай. До следующего раза...— только и сказал Илларион Петрович.

Запечник тут же исчез, но что-то как будто осталось от его присутствия, дух его какой-то, что-то гнетущее. И радости, что прежде была, я не испытывал.

Екатерина Михайловна, предчувствуя вопросы, видя недоумение мое, неловкость и растерянность,

просила пока что не беспокоить Иллариона Петровича, подняться в светелку и там отдохнуть до утра.

— Потом, потом,— шептала она, с опаской поглядывая на мужа.— А сейчас я вам постелю.

Я чувствовал себя виновником всего происшедшего и решил поговорить завтра спокойно с Илларионом Петровичем. Конечно, меня занимала эта история, и я хотел понять, почему она привела хозяина в такое состояние. Я догадывался, что долгую вражду они прошли в жизни.

Спать не хотел, и если бы не усталость, до утра просидел бы, перебирая и разглядывая фотографии, перелистывая старые книги, которыми буквально была завалена эта светелка. На фотокарточках я видел, наверное, детей Иллариона Петровича и Екатерины Михайловны, видел детей их детей —внуков — у дома, в лесу, на реке. Попадались фотографии и похорон, и свадеб. На одном старинном снимке сам Илларион Петрович сидел, наклонив голову к Екатерине Михайловне, а на груди у него был Георгиевский крест. Встречались и недавние фотографии — Илларион Петрович в огороде, Илларион Петрович за плотницкими своими занятиями, Илларион Петрович, склоненный над книгой...

Книг в светелке было много, самых разных изданий, разного содержания и назначения: и собрания классиков в приложениях к «Ниве», и Псалтырь в сафьяновом переплете, и книги на французском языке с позолоченным обрезом — Виктор Гюго, Бальзак... Были и детские книжки с картинками в стиле «модерн», а также лубочные изделия в картонных переплетах...

Уже раздевшись, я взял томик Лермонтова, лег, полистал немного, вспоминая стихотворения, которые с отрочества вошли ко мне в душу, наткнулся на закладку, на той закладке переписаны были строки из Пушкина: «Владыко дней моих! дух праздности унылой, любоначалия, змеи сокрыто сей, и празднословия не дай душе моей...» На заложенной странице было отчеркнуто стихотворение: «Мой дом везде, где есть небесный свод, где только слышны звуки песен, все, в чем есть искра жизни, в нем живет...»

Проснулся от необыкновенной тишины предутреннего часа. Чувствовал в себе бодрость, здоровье. Ле-

жать больше не мог, тихо оделся, спустился вниз. В избе никого не было, топилась печь, на веревке сушилась моя одежда, стояли ботинки, вымытые и начищенные. Я постоял в раздумье и нерешительности, не зная, подождать ли Екатерину Михайловну и Иллариона Петровича или начинать собираться в путь. Но услышал голос Екатерины Михайловны, донесшийся от сарая, и направился туда. Хозяйка доила корову.

— Это ты? — разгибаясь, спросила она.— Вот хорошо. Выпьешь парного молочка?

Уже в избе, налив мне кружку молока, Екатерина Михайловна заговорила о вчерашнем:

— Илларион Петрович вечером же хотел с тобой переговорить и успокоить, да я остановила. Ну хорошо, решил, завтра. Вот я тебя и спрашиваю — дело ли выйдет сейчас с ним разговаривать? А кто Запечник? Трус, губитель нашей колхозной жизни. Был даже председателем, да не по его вышло. А с войны дезертировал. Много чего было...

Я озадаченно молчал, слушал. Рассказывала она о печальном случае из истории, как о чем-то давно вычеркнутом из нашей жизни.

«Почему он грозился спалить амбар?» — думал я. И еще много неразрешимых вопросов стояло передо мной.

— Места у нас, Василий, хорошие,— сказала Екатерина Михайловна, глядя на меня.— Можно, например, отправиться на остров, дорогу я тебе укажу. У наших родственников остановишься... Там всего-то три дома, найдешь. Понравится, может, и останешься на время. Озеро красивое, и люди добрые. Дорожка туда прямая от берега, брод, перейдешь, почти и ног не замочишь. Да там и лодка есть. А обживешься, и к нам в гости наведывайся.

Я согласно кивнул.

— Ну вот и ладно,— сказала Екатерина Михайловна, и глаза ее улыбнулись на мгновение.— Тогда пойдем, накормлю тебя.

* * *

До острова я добрался на лодке, что стояла в осоке, но уже у самого берега, причаливая, забрал воды.

Пришлось развести костер, чтобы просушить одежду и привести себя в порядок.

Встретили меня у дома, как будто ждали, всем семейством: Старик и Пелагея, сестра Старика, и маленькая Аня, дочка Алевтины, и сама Алевтина. Их дом, оказалось, действительно нетрудно найти, он был самый старый на острове. Я поздоровался и рассказал, как добирался, что бродом не пошел, что лодка перевернулась...

— А мы глядим — на лодке плывет кто-то,— сказал Старик.— А потом — нет и нет.

— Да,— сказал я, улыбаясь.— Как у вас тут хорошо!

— Вот и живи с нами,— предложил Старик.

Обосновался я, выделили мне угол. Много времени проводил с маленькой Аней: она показывала мне тайные места, я фотографировал ФЭДом остатки монастыря, Аню у дерева, Аню у источника, Аню у колодца... Намеревался и Алевтину, мать ее, сфотографировать, но она ни в какую не соглашалась. Мне эта женщина показалась замкнутой, будто неотступно думала о чем-то.

И еще один человек жил на острове — Рыбак, деверь Алевтины, который, можно предположить, был к ней привязан не как родственник, а иными узами — любовными.

Мы с Аней бродили по тропе, которая петляла по острову, наведывалась во все его потаенные уголки и закоулки, как будто уводила нас в далекие земли. Аня рассказывала, куда ходили по дрова, где находится луг, на котором стоят свежие скирды и куда выгоняют коров на выпас. Показала и тропинку, которая как будто никуда и не вела, но все же существовала — кто-то ее протоптал и кто-то по ней ходил, но хозяйственной какой-либо нужды в ней не было. Много всяких разностей открыла она мне: и белый мелкий песок, и плавный спуск к воде, и сосны в дюнах, и дремучий старый лес, куда редко заглядывали. Выходил я со Стариком ставить сети, но не часто. А больше времени проводил в тишине, делая записи в блокноте, внимая покою природы, окружающей меня на острове, присматриваясь к жизни этих людей.

К Иллариону Петровичу я пока не наведывался,

дал себе срок... А потом пошли дожди настоящие, осенние, затяжные.

Остров был объят тишиной, там стоял дремучий лес. И болота обступали с восточной стороны, топи, и нагроможденья горелых деревьев, и просторы лугов заливных.

Три рыбацкие семьи неизвестно почему жили на острове, совершенно обособленно друг от друга, но в каких-то сложных между собой отношениях. Ни одного могильного камня не было здесь, ни одного креста или холма. Когда еще существовал монастырь, покойника несли водой по броду, там на берегу и хоронили. Получалось, ни один человек не умер на этой земле, и уже давно стало это поверьем, и люди страшились,— предчувствуя смерть, покидали остров. А что за поверье, эти оставшиеся уже забыли, а может, и не помнили.

Однажды остров вдруг всполошился. Дождь как раз прекратился, ветер стих, замер, но пополз туман. Алевтина со Стариком пошли развешивать сети. И деверь ее, Рыбак, вышел к озеру и, стоя на берегу, вглядывался в туман. Он смотрел так напряженно, как будто пытался увидеть там призрак брата, мужа Алевтины, который утонул.

Пока я находился на острове, никто не посещал его. И я догадался, что как раз скоро и наведаются гости — было время охоты и последней ловли перед заморозками. Так и случилось. Но вначале появился, как мне сказали, Гриша-почтарь. Его вышли встречать. Сам Старик рупором сложил руки и закричал. Звук моторки на мгновение осекся и смолк, и оттуда тоже донесся крик. Старик еще призывал, но Гришкина моторка уже мчалась дальше. Можно было догадаться, что никаких писем и посылок не пришло, и потому Гришка на своей моторке к острову не пристал. Теперь еще чья-то лодка направлялась сюда.

По звуку мотора было ясно, что она петляла где-то поблизости, что вроде вот-вот должна была приткнуться к берегу, но сгустившийся туман мешал, неподвижный, замерший. Женщины на мостках ждали, приглядывались, вслушивались. Лодку вел, должно быть, кто-то знающий эти места, этот остров, однако все сбивался с пути, менял направление и снова удалял-

ся. Алевтина вся напряглась. Деверь ее замер. Как-то вяло, уже совсем издалека, донесся из тумана выстрел.

Лодка ушла к белым пескам, за которыми лежало болото. Алевтина встрепенулась вдруг, сбежала с мостков, направляясь к дому. Скоро с ружьем в руках заспешила обратно по тропе. Раздались ее выстрелы, звонкие и требовательные. Звук мотора смолк. Она снова выстрелила. С реки ей ответил выстрел. Слышно было, что там, видимо, сели на весла и, огибая мертвую землю, горелый лес и болота, сворачивали к бухте, к белым пескам, где был дом Рыбака.

Наконец лодка причалила, и остров успокоился.

Трое мужиков со смехом ввалились к нам в избу. Они раздевались, переобувались, доставали подарки, гостинцы... Старику и сестре его Пелагее они были хорошо знакомы, но особенно одного привечали — Ефима.

Только Аня все косилась, обходила стороной и стол, и гостей и как-то странно смотрела на меня. Что-то и Алевтины долго не было, что-то она не торопилась теперь к гостям.

Наконец появилась, вошла, поклонилась, поздоровалась. И все задвигалось в доме, зажило. Гости негромко переговаривались и смеялись. Алевтина села к самовару.

Когда застолье чуть разгорелось, в дверь постучали. Вошли три бабы в новых платках. Жена Рыбака, среднего роста, с лицом покорным, и еще тетка ее, степенная, спокойная, и ее дочь — дурнушка, шальное растение с блеклыми глазами. Переступили порог, кивнули и сели на лавку. Пришли на смотрины и ждали, как будет начинаться сватовство Алевтины, и трудно было скрывать им нетерпение и любопытство.

Теперь жители острова собрались, и все застыло в этом времени, когда кажется, что этот вечер навечно, что не будет дня, не будет и ночи, а только этот вечер.

— Коли два, так не один,— начал тихо, с загадки, Старик. Но его все услышали.

— Да,— понимая и зная теперь, что речь шла о сватовстве, откликнулся один из попутчиков Ефима, леспромхозовский слесарь, которого все звали Баш-

мачник.— Да. Как все бывает... Вот, скажем, у вас тут света нет — керосинка да свечи...

— Поставят электростанцию,— сказала жена Рыбака.— На волнах, я слышала, и тогда все вокруг будут освещать, весь остров. Он у нас музеем станет. И телевизорную мачту поставят...

— И я буду спать при свете,— сказала дурнуха.

— Ну что ж,— сказал еще один попутчик Ефима, бригадир из леспромхоза, по кличке Бугор.— А зайцы на острове перевелись или нет?

— То есть, а то вдруг нету, вот какое дело,— снова вступился Старик, посмеиваясь.— Ефимка ваш как приедет, все вокруг опустевает.

Ефим тоже засмеялся, довольный шуткой, а сам покосился на Алевтину: она вроде бы и улыбнулась, но в глазах ее была строгость.

— Тащи карты, дед,— сказал с обреченной решимостью Ефим,— будем играть, чтоб время, как конь вороной...

— Коня что-то я и не вижу,— недовольно крякнул Старик, но за картами пошел.

Я играть отказался и опустился на табуретку сбоку от стола, рядом с Аней. Ефим сел играть в паре с Башмачником, а Старик с Бугром. Женщины разместились на кровати, наблюдая за игрой, лакомились сладостями.

Играли недолго.

— Ну и будет,— Ефим бросил на стол карты, смешал их.— Спать пора.

Женщины-гостьи тут же встали и ушли, как будто их и не было. Вскоре и мужики подались на воздух, подышать перед сном, перекинуться словцом, посмотреть на воду, потолковать о том, какая завтра будет погода и будет ли ветер. Я видел, как Ефим у двери задержал Алевтину. Она провела ладонью по его губам и тут же отдернула руку: «Нет, ты погоди!» И отошла.

Пелагея стала разбирать постель, стелить гостям на полу у стола, а потом уложила внучку свою Аню и прилегла сама, убавив свет в лампе. Кивнула и мне, когда я вернулся в дом, чтобы шел к себе. Старик уже забрался на печь и, видно, сразу заснул. Мужики некоторое время толклись у стола, стаскивая ватные штаны. Ефим лег сбоку и тут же затих...

Появилась и Алевтина, оглядела всех, погасила лампу, юркнула к Пелагее с Аней и тоже затихла.

Наступила ночь, и все успокоилось на острове. Тусклый свет лампы рассеивался по избе. Ефиму настала пора решиться на что-то, так я понимал. Он тихо встал, тронул Алевтину за плечо...

А утром все собрались на ловлю, но я, сославшись на головную боль, отказался. Алевтина как-то странно посмотрела на меня и усмехнулась. Мы остались с Аней, а Пелагея пошла судачить с соседями, сделав всю утреннюю работу по хозяйству. С приездом рыбаков мое уединение нарушилось, будто что оборвалось во мне. Надо было подумать о себе самом и не мешать тому, что будет (или может) здесь разворачиваться в эти дни. Я тихонько принялся складывать свои пожитки. Аня заметила это, но ничего не говорила, только наблюдала. Раз только спросила: «А ты вернешься?» Я кивнул.

Старик с Алевтиной пришли с озера еще днем, одни. Я никак не решался сказать им о своем отъезде. Алевтина с Пелагеей наололи дров, занесли и сложили в подклеть, повыдергивали в огороде перед окнами вешки, на которых сушились сети, и теперь прибирали в избе, а в печи, закрытой заслонкой, томился обед. Старик выдвинул из-под лавки корзину со старыми сетями и перебирал их, перевязывая и что-то приговаривая. Склонив голову набок, изредка косил глазом на Аню, которая притулилась рядышком, загадывая загадки: «Два конца, два кольца, посередке гвоздь...»

— Ужо тебе,— девочка протянула старику ножницы.

— ...четыре ходастых, два бодастых, один хлебестун...

— Ясно, корова.

Девочка заулыбалась, потом обернулась и посмотрела на меня долгим взглядом:

— Дядя Василий уезжать собрался...

— Что так? — встрепенулся Старик. — Откуда знаешь?

— Действительно уезжаю,— сказал я. — Сегодня. Может быть, навещу Иллариона Петровича... Лодка у меня есть.

— Алевтине с Пелагеей не говорил?

— Нет еще.

— И не надо,— Старик поднялся, отбросил корзину, какое-то решение пришло и к нему.— Сейчас и отправимся, я тебе помогу.

Собрались мы в одно мгновение, откуда только расторопность взялась у Старика. Аня, кажется, тоже что-то поняла, обхватила меня своими нежными руками, уткнулась в шею.

— Не сказывай пока,— шепнул, как будто нас могли услышать, Старик, помахал рукой внучке, когда мы уже выходили задними дворами.

Обогнули мертвую землю, болота, камыши и вышли к белым пескам, к соснам и дюнам. День был полный, все вокруг было хорошо видно. Звук моторки слышался откуда-то сбоку. Мы спустили лодку, Старик оттолкнулся багром, а я сел на весла.

Лишь после того как отплыли от острова, я понял, что это было как раз то место, где мне следовало бы остаться надолго. Но я плыл на лодке прочь.

Осеннее утро было холодное, тихое, беззвучное. Я уже был в автобусе и дремал. Так я ехал, а куда, и сам не ведал. Хотелось одного — приехать в с в о й дом, а не искать его в мечтах своих.

День проходил, солнце, показываясь то справа, то слева от автобуса, клонилось уже к вечеру. И вдруг голос услышал...

Конечно, девушка не сама с собой говорила и не со мной, она отвечала односложно крепкому, налитому силой парню, который стоял рядом со мной. Он нес какую-то чепуху: «Долго ли ехать?.. Доедет ли автобус по такой грязи? Куда девушка едет?..» — с плутовством, с усмешкой, с уверенностью. Темно уже стало, шофер не включал свет: не в городе же это было, в полях, в лесах.

Мне хотелось взглянуть на нее. И это удалось. Я увидел ее лицо в полумраке автобуса, такое спокойное и удивительной красоты, и глаза наши встретились. Она смотрела так, как будто знала меня. А э т о т продолжал все спрашивать, все заигрывал: какая здесь водится рыба? как с клубом? как с танцами? Она перестала отвечать и смотрела на меня,

будто увести хотела, а он все не отставал, подталкивал, и косился черным своим глазом, и все говорил...

Лес вдруг расступился. Мы въезжали в большую деревню: конец пути, конец движению. Сделав последний рывок, автобус затих. Все заторопились, засуетились, и меня тоже вынесли наружу. «А теперь куда?» — думал я. И вдруг моей руки коснулась теплая, мягкая рука. «Скорей,— шептала девушка,— пойдемте скорей...— Она уже взяла меня под руку и уже толкала куда-то в темноту.— Эти геологи, от них одна морока, такие они шустрые да быстрые, только берегись». Мы куда-то шли в обволакивающей, густой темноте, в запахах уходящей осени. Вдруг девушка остановилась.

— Подожди здесь,— и скрылась, исчезла сразу.

А через минуту она уже была рядом со мной, и я сам словно бы вернулся к себе.

— Да вы замерзли. Вы к кому-нибудь приехали?

— Дом ищу.

— Дом? Свой дом?

— Ищу, где можно дом купить.

— Так сейчас у вас есть где остановиться?

Я ответил, что негде.

Она взяла меня под руку и куда-то повела. Я стал говорить, невнятно рассказывал, что ищу пристанище свое...

И вот мы подошли к какому-то большому дому. Она уже открывала дверь. На нас пахнуло старыми книгами, старыми одеждами.

— Вот я вас и привела. Здесь и переночуете,— говорила она тихо.

Из темноты показывалась то полоса желтой занавеси, то красный бархат каких-то длинных одежд, развешанных по стенам, то синие изразцы голландской печи и темные одежды, сваленные на лавке, и кожаный диван, и громадный тулуп на нем.

— Укладывайтесь, тут тепло, тихо. Это клуб. Догадались? Под тулупом сладко заснете, а утром я вас разбужу. На полке найдете еду. Вы мышей не боитесь?

— Да нет... Не боюсь.

— Так до завтра...

Она ушла, я, как только лег, сразу уснул.

Вы, может быть, не поверили, что такое могло со мной случиться. Такое случилось, вот в чем дело! И, просыпаясь среди ночи, я помнил пожатие ее руки, ее слова: «Так до завтра».

Проснулся от крика птицы — такое пронзительное начало нового дня! Вскочил и, зацепив ногой за какую-то накидку, упал в ворох одежд, пелерин, плащей. С трудом выбравшись из этого невообразимого кокона, накинув тулуп на плечи, хотел тотчас выйти наружу. Прошел узким коридором на сцену. Гулкое пространство зала эхом отозвалось на мои шаги. Я двинулся дальше другим коридором и тоже как будто знал хорошо, куда иду. Вот оно, фойе. Какое странное слово! Дверь оказалась запертой, и ключа в отверстии замка не было.

Я простучал своими сапогами на другую половину дома — тут действительно была библиотека, и окна в металлических решетках, а за ними ширился свет: уже уходили утренние тучи. Мне бы, может быть, остаться здесь, и сесть за чтение, и, как школьнику, дождаться ее, взять томик Пушкина... Но я отправился искать черный ход и нашел его — он был изнутри накрест забит досками. И так я сделал круг, обошел весь дом и вернулся в комнату, где провел ночь. На полке лежали хлеб, лук, печеная картошка, стояла кружка с водой — мой завтрак. Но есть я не стал, подошел к окну, попытался открыть его. Отодвинул ржавые гвозди, сдерживающие раму, и она распахнулась, и воздух ворвался в комнату. Я высунулся по пояс наружу, оглядывая окрестность. За садом из яблонь и слив раскинулись на пригорке избы: справа, вдалеке, за полями виднелась кромка леса, а слева, совсем близко,— пологий спуск, лощина с елями и — о диво! — излучина реки рядом, а за нею сплошною стеной — лес. Я прыгнул вниз, в траву. И уже было побежал, но осадил себя и, спокойно поглядывая по сторонам, охваченный величием открывшегося простора, стал медленно спускаться к реке.

Легкая волна скользила у берега. В одной из лощин я отыскал источник и попил воды. Затем разделся до пояса, вошел в воду и принялся плескаться, обливая плечи, грудь и лицо, а умывшись, растерся

фланелевой рубахой и на голое тело надел свитер и куртку.

Отсюда хорошо были видны ряды изб, скотные постройки, а на пригорке справа на выступе — роща оголенных деревьев и церковь с высокой белой колокольней, ржавыми куполами и зеленой крышей. Постояв немного, я направился от реки, через небольшие овраги, прошел лугом, сорвав несколько цветков, и стал подниматься к роще. Скоро увидел толпившиеся кресты — кладбище. Я прошел его краем.

Церковь была внушительных размеров, но когда я подошел ближе, она, казалось, преобразилась: легкая и изящная, она словно готова была взлететь. Через арки колокольни виднелись купола, будто парящие в воздухе.

В окошке дома, к которому подошел, всколыхнулась белая занавеска, я заметил это.

Навстречу вышла пожилая женщина. Она была дородна, большие руки обнажены по локоть, а поверх синего платья в мелкий белый горошек была накинута овчинная куртка.

— Чего надо? — как будто безразличным голосом спросила она.

— Вот ходил к реке,— сказал я как можно добродушней.— Ходил, бродил, теперь есть очень хочется.

Она не улыбнулась, но лицо ее потеплело. Из сенника вывалился парень в ватнике, в срезанных валенках.

— Бабуляша...— проговорил он, зевая во весь рот.

Лицо женщины не переменилось.

— Так что же, вот с Павликом, с внуком,— сказала она,— испейте молока, пока еще не охолодилось. Ступайте в дом.

Она пошла, не оглядываясь и не обратив внимания на внука, к сараю.

— Что, особой ласки не было замечено? — обратился подходивший ко мне парень.— Но это так, с виду, с первого, что ли, взгляда. Вообще-то, конечно, женщина суровая, с принципами, но ничего, ладить можно; я, например, за ней, как за каменной стеной — твердо, надежно... Да что же, давайте и познакомимся. Вижу, москвич либо из Ленинграда, так ли? Я, как вы слышали, Павлик, Павел Сергеевич, студент,— он театрально протянул руку.

Мы познакомились. Поговорили на московские, общие темы. Он вел оживленный разговор, как я заметил сразу, играя кого-то, какую-то роль.

— Так что же, пошли молоко пить, Василий Иванович, раз угощают. Кстати, запомните, бабушку нашу, Екатерину Египетскую, Екатериной Евгеньевной звать и еще запомните, она любит величаться... Здесь, конечно, глушь, глубинка, но места хорошие, я бы сказал, уникальные... Вас, пожалуй, вся деревня видела, как вы там плескались. Кушайте, молочко с хлебушком, да вот и яйца, а Екатерина Евгеньевна вскорости придет.

Павел все говорил и говорил непрестанно. Потом глянул в окошко:

— Вон мой дядька в школу пошел, а в руках бидончик с молоком, о здоровье своем беспокоится... Хитер, всех в школе прижал, хотя и не начальник, но знает струны, знает лад, политик, да и только, а всего лишь преподает, надо же сказать, черчение с математикой. Но уж как прочертит, так тому и быть. Жена его — хорошая была девушка, пока за него не вышла, а сейчас все мрачнеет да мрачнеет. Ее выбрали в сельсовет; пост невелик, но власть, ответственность, прочее и прочее. Однако не нам судить их, это я так, к слову заговорил, показался мне он в окне — вот я и вспомнил, как будто на каком восточном базаре.

Я кивнул невесело, понимая и давая понять, что оцениваю его характеристики, и стал расспрашивать о деревенских жителях, подбираясь к ней, к той, что показала мне путь, приютила в клубе, чтобы он ее упомянул. Спрашивал, где тут присмотреть дом, может, купить, может, остановиться. А он говорил уже о каких-то Аннах: «Мы вот пойдем чуть погодя к ним, к Аннам, многое узнаешь, многое поймешь из нашей жизни». И еще о Марии. И к ней он собирался меня сводить.

— Ты как будто бы пришел именно ко мне,— говорил он уже на «ты», но выражаясь витиевато.— Нежданно-негаданно, чтобы меня отсюда поднять, из спячки моих каникул. А то я и забыл... За это одно я должен тебе быть признательным. Тем более ты дом собираешься присмотреть! Кто же тебе еще по-

может, кто направит тебя? Только один Павел и может направить и дать движение. А не просто это, ох как не просто, мудреное это дело — поиски, я уж не говорю покупка, тут, можно сказать, целую жизнь будешь примериваться, как вот небезызвестный господин Чичиков: все ездил да ездил, а чем кончилось? Я ведь не в пример ставлю характер, ты не обижайся, хотя и обижаться тут не на что... Ну ладно, куда-то меня занесло на обочину. Вот к чему говорю. Я могу и самого Николая Васильевича упомянуть, где-то он тут, в наших краях, собирал сведения и прочее, да и сам, кажется, хотел пристанище найти, а не получилось, не вышло. В Италии писал свои «Души»... Вот что значит, ты приехал,— вдруг перешел он на прежний тон, продолжая философствовать о моем приезде,— приехал, и я воспарил. Да, не спросил, где ты ночь-то провел?

— В клубе,— ответил я, чтоб уж покончить, да и сразу у меня это вырвалось.— Тут непростая история...

Но Павел меня перебил:

— Да что ж ты молчал, то-то скрытник?! Что молчал? Елена кому угодно голову замутит! За ней это водится — романтичность некоторая в характере, что ли, или как это там у вас называется... А у нас ее колдуньей окрестили. Ей потом расхлебывать придется, все шишки на нее, как всегда, повалятся... Ну, скрытник, а мы-то тут прохлаждаемся... Да что ж теперь делать! Пожалуй, делу не поможешь, но, может быть, так-то и лучше, неожиданно...— Лицо его исказилось, что-то лихорадочное появилось на нем.

Я удивился его горячности. Куда и зачем мы должны торопиться? Подумал: может быть, он влюблен в Елену,— да и разное другое стало у меня вертеться в голове. А он тут как раз и скажи, как будто читал мои мысли:

— Ты, может, подумал, что я, как бы сказать, неравнодушен к ней или что понапрасну беспокоюсь? Тут ты не прав. Я, может быть, и влюблен, в некую особу, но это пустое, не деловое, одна лишь созерцательность, а беспокойство действительно есть, и не за нее, а за тебя... Потом все поймешь и будешь мне еще благодарен.

В это время дверь отворилась, и вошла Екатерина

Евгеньевна с бутылью в руке и с миской сотового меда.

— Ну, бабуля, ну, золотце, вот так приношения! А мы все смотрим, нет тебя и нет, думали на подмогу идти, выручать, все-то мы молочком да хлебушком питаемся, как дитяти...

— А кто же вы есть такие? Дитяти и есть. Тоже весельчак нашелся. Вы его не слушайте,— обратилась она ко мне,— не знаю пока, как вас звать-величать. Вы его так, мельком, слушайте, столько он наплетет, что ум за разум может зайти...

Она поставила бутыль и мед на стол и, что-то приговаривая, стала греметь посудой.

— Да, вот какие дела,— снова заговорил Павел, но так, с оглядкой на Екатерину Евгеньевну.

Она услышала лукавство его и откликнулась:

— Да ты не ластись, не ластись, от меня секретов все равно не убережешь. Лучше уж расскажите толком, что там между вами, какой разговор...

И так она хорошо, по-домашнему сказала, что я не хотел больше думать о том, что она знает, чего не знает и что узнала за то время, пока где-то ходила. Без долгих дум и размышлений рассказал ей, что меня привело сюда.

Говорил о своей мечте, о своем доме в деревне, о своем месте среди своего народа, о своем призвании, о языке, о своих сомнениях и своей боли, о радостях существования...

— Храбр,— сказал Павел, когда я кончил исповедь.— Храбрость, говорят, города берет, но не знаю, как вот с деревней...

— А ты и помолчи, если не знаешь,— сказала Екатерина Евгеньевна.

Я говорил о своей мечте, о своей судьбе, и, может, у меня так складно получилось, что они поняли или захотели мне верить! Сам по себе знаю, как хочется верить мечте. Я неожиданно и сам многое понял в себе, в своем призвании, стремлении. Высказанным словом открылись мне такие тайники, о которых я и не подозревал.

— Тяжеленько тебе придется, парень, судьба твоя понятна,— вздохнула Екатерина Евгеньевна.— Конечно, все у тебя красиво и с душой, вижу я, но дел тебе предстоит в жизни — и не счесть! Конечно, приехать

бы тебе летом; а с другой стороны, как бы и мы летом посмотрели. Летом пришлый человек иначе смотрится, так, что ли? Или вот с твоей ночевкой в клубе...— она усмехнулась.— Но и тут тебе оправдание, потому что с одной стороны Елена — девушка строгая, а с другой стороны, говорят, приворожить кого угодно может. У них в роду такие все, на той ведь стороне, в Заречье, откуда она родом, леса бескрайние и болота непроходимые, там только и знай — берегись, всему научишься. Природа, выходит, тебе с одной стороны как бы мешает, а с другой — не дает упасть, оставляет человеком, владельцем своим, бережет тебя, лелеет... У меня тут тетрадочка одна припасена, да вот не знаю, читать ли тебе из нее, для примера, для сравнения, чтобы понятней тебе стало...

— Погоди, бабуля,— прервал ее Павел,— потом, успеешь почитать, не все сразу. Нам ведь надо поспешить, дело у нас... К тому же я решил, бабуля, скоро уезжаю, вместе с ним, как все уладим, и поеду. Ты, Василий, думаю, по такой погоде долго задерживаться не станешь... Это сегодня тишь да благодать, а завтра как зарядит дождь, а то, может, и снег... Как будто покров скоро, верно, Екатерина Египетская?

— Верно,— ответила старуха, как бы печать наложила.

— Ну вот я и говорю, долго ты здесь не усидишь, во всяком случае не советую, потом лучше приехать надолго, хоть зимой. Мы, правда, и теперь можем с тобой застрять, дороги размоет, и вся недолга, куда денемся? Будем сидеть, чаи распивать да на девушек заглядываться... Так я к чему говорю, Екатерина Евгеньевна, нам бы проветриться пора...

— Может, ты и прав,— ответила старуха.— Только приходи ночевать ко мне, Василий, места хватит, а с Павлом оно, конечно, сподручней,— заметила она,— с ним хорошо будет, он балагурит, да дело знает и нас всех знает.

Я подчинился, что мне оставалось.

— А вот моя мама,— сказал Павел, показывая на одну из фотографий, что занимали всю стену меж окон.— Вот она какая у меня красавица. Это с самого Сахалина карточку свою визитную прислала сюда, сбежав от отца. Давно было, потому и рассказываю. Она ведь у нас актриса, да, но теперь, конечно, все

не то, то есть по-другому. Мама сейчас недалеко, в областном городе, да уж не на тех ролях. Но и об этом потом, пора нам, пора... Жди нас, Екатерина Евгеньевна, жди и путь нам дай, дорогу удачливую.

— Попить вам воды из хорошего колодца,— сказала Екатерина Евгеньевна.— И возвращайтесь.

Мы вышли во двор, день был в разгаре, светлый, прекрасный. Он как будто напоминал мне, что и сюда приходит лето, и здесь, на этой северной стороне, становится ненадолго тепло и привольно. За плетнем, в стороне от скотного двора, находился огород — надежда и прибежище крестьянское. Теперь уж все собрано, всякий овощ и плод, и лишь кусты, ботва, листья и оголенные деревья напоминали о том пиршестве природы, что творилось здесь совсем недавно. Только рябина одна красовалась на опустевшем огороде. Неподалеку от цветника видны были остатки костра, и Павел, заметив, как я разглядываю все вокруг, сказал:

— Картошку пек, баловался, пока бабка листья жгла. В компании-то мы обычно на реке собирались, многие тут летом родителей навещают — разожжем костры, искупаемся, а стемнеет, мы песни поем. Хорошо! Что б тебе раньше приехать! Ну ничего, последний уж раз, как будем уезжать, распалим кострище, даю слово. На реке хорошо; бывало, смотришь, и на той стороне, в Горчухе, откуда родом наша фея, тоже соберутся у реки, и кто кого перепоет... Да, скоро, пожалуй, все это небывальщиной обернется, «преданьем старины глубокой»... Что же, пошли, выходим на просмотр?..

Я кивнул, и через мгновение мы были на площади, куда вчера ночью приехал. Теперь в свете дня видны были и старые липы, и лабазы, вросшие в землю. Старики сидели на припеке, смолили папироски, несколько парней пронеслись на мотоциклах, обдав нас гарью; в школе, что стояла на взгорье, была перемена, и детишки высыпали оравой, голося, разбегались по школьному саду.

— Присматривай, присматривай,— говорил Павел,— вон пекарня наша, а за нею столовая, но туда отправляться пока что ни к чему, не за тем мы в де-

ревню стремимся, а? Это только так — для бобылей. Мужики наши там пиво пьют, когда привозят, ну, конечно, и без пива, а с чем другим обретаются, это как бы клуб наш мужицкий, потому что в тот, куда идем, одна ребятня приходит на бильярде играть, кино посмотреть да книжки почитать. А здесь разговоры особые, серьезные, о жизни, а с ней, жизнью, шутки плохи, о ней надо с умом разговаривать, как оказывается... Следом, как ты видишь, пожарная каланча, дальше — дом лесничества, ну что еще, магазины «Ткани» и «Продукты», вот и все. Туда, я думаю, нам тоже ни к чему, а правление — справа, в новом крыле деревни, где строительство идет вовсю, а нам налево, мы только теперь до клуба сельсовет пройдем и ветеринарный пункт, дальше пойдут ремонтные мастерские. Там, я думаю, тоже знают, что ты из окна выпрыгивал...

Люди проходили мимо, здоровались, улыбались; лысенький мужчина пытался остановить, задержать разговором Павла; но мы все же уверенно двигались к цели своей. Пожалуй, если вспомнить весь путь наш по деревенской улице, то из него может сложиться целая история. И можно было бы ею заполнить все тетради, лежащие у меня в рюкзаке.

Я это все говорю потому, что опечален, потому, что далее должна была появиться о н а — я к ней стремился; но печаль заключалась именно в том, что, подойдя к клубу, не увидел ее лица, которое бы мелькнуло в окне, не услышал ее шагов... Двери клуба были, как и утром, заперты на большой висячий замок, но к нему приколота записка на булавке: «Ищи ветра в поле». Хорошо, если она сама это написала, а не кто другой посмеялся надо мною... А может быть, и видели уже записку? Павел, точно определивший, что это ее рука, сказал, усмехнувшись, что, конечно, записку читали. Вот почему я был опечален. Помню, Павел меня куда-то вел, говорил, что мое путешествие должно кончиться, что теперь я здесь существую, присутствую...

Мы уже долго шли в сторону от деревни, потом свернули с дороги и по тропе углубились в лес. Шли медленно, я слушал, как вспархивают птицы в чаще. Павел меня не торопил и тоже шел медленно, молча,

тоже прислушивался к звукам ли леса, к себе ли, к своим мыслям. Лицо его осунулось, краска с лица сошла, тени бродили по лицу. Я не хотел его ни о чем спрашивать, хотя не знал, куда мы бредем и почему свернули в лес. Теперь мне надо было понять характер местности и обрести здесь свою собственную жизнь, свое собственное место. Происходило что-то подобное тому, как говорили римляне: узнав о пище, узнай и о нравах. Павел вдруг прервал мои мысли:

— Была тут одна деревушка, всего дворов в ней пять-шесть. Сейчас, может, и сгинула,— усмехнулся он невесело.— Идем мы с тобой, словно нам надо что-то найти... Как будто коробейники, товару своему сбыт ищем, или дело рукам своим никак не найдем... Я в этой деревушке жил у бабушки, после войны, с Екатериной Египетской, а она была нянькой в большой семье и меня прихватила с собой, нахлебником. Это когда мать деранула на Дальний... Бог ей судья, и я не в обиде, ну а папаша... папаша письма писал и, конечно, кое-что присылал. Нет, он не жадный был...— Павел замолчал, и некоторое время мы молча шли. Потом он продолжил: — Но мне здесь хорошо было, то есть даже душу щемит, как вспомню, я в семье как родной у них был, даже более чем родной, потому что призренный, вот слово-то какое — жалели меня, потакали моим причудам. Потом уж я в училище художественное уехал, на Волгу, в Горький, к отцу...

Я ничего ему не ответил.

Мы шли и шли, а деревня все никак не открывалась перед нами. Брели по едва приметным тропкам, какими ходят по грибным местам, и уже отчаялись, уже собирались вернуться на большак и оттуда снова начать поиски, как вдруг Павел замер, что-то заметив, подошел к сосне, остановился и долго рассматривал — какие-то очертания были на стволе ее, но уже заплывшие.

— Я тут голову вырезал, когда однажды из училища возвращался,— он прикоснулся рукою к дереву, провел пальцами по шершавому стволу.— Надо же... заросло... не думал, не гадал... Давно я здесь не был.

Теперь и я заметил, что за кустами орешника был забор из потемневших досок, обветшалый, с наростами мха, стеблей вьюнка, потемневших листьев. Павел отодвинул одну из досок, и мы пролезли. Тропка была

основательно протоптана, как будто сюда приходили и, не решаясь покинуть дом, снова возвращались. И открылось нам несколько строений, стоящих в тишине: серые, высеребренные ветром и дождем баньки, избы, колодец с большим деревянным колесом. Тишина кругом стояла невероятная, я прислушивался, но ничего не слышал. Только в лесу была жизнь, было движение, шорохи, крики, шуршание — здесь как будто что-то происходило, чего я не мог понять: ни дыма из труб, ни запахов, стояла немая тишина. Трава проросла на дороге, а тропка вилась отдельно. И в окнах домов была пустота, не видно привычных занавесей, оборок, ваты с блестками, игрушек, банок и горшков с цветами... Но смотрелись пустотой только некоторые окна, другие почти все закрыты были разросшимися кустами черемухи, или заколочены досками крестом, или стекла были выбиты в них, и на ветру шуршала — вот какие звуки появились! — шуршала пожелтевшая газетная бумага. И вдруг будто расстояние сократилось, и открылось что-то невиданное, нереальной красоты — дом не дом, церковь не церковь, амбар не амбар. Все состояло из пристроек и надстроек, и такое все было собранное и раскрашенное в невиданные цвета и оттенки — и серебристое, и кумачовое, и зелень с синим, и где-то голубое... Чуланчики, летники, светелки, балкончики, башенки. В этом как будто терялась основа, но центр ощущался во всем нагромождении, цветастом коме, как в сотах пчелиных. Все здесь, казалось, имело тайну закономерности. И серебристый цвет соседствовал с цветом давленой бузины, переходил в лазоревый, снова серебрился русалкой...

— Тут мы и жили,— сказал Павел, посмотрев пристально на меня.— А вон и школа,— показал он глазами на двухэтажный бревенчатый сруб, стоящий на красном кирпичном фундаменте.

— Где же люди? — я спросил.

— Уехали, надо думать, разъехались, отстроились на другом месте...— и он как-то усмехнулся невесело,— разъехались, как говорится, на лето...

— А в дом-то можно войти? — спросил я, находясь в оцепенении.

— Отчего же нельзя, если не заперт. Ведь и живут же здесь, слышно, живут.

Мы стали искать вход в этом нагромождении строений и услышали, как кто-то там ходит, движется, скрипит.

— Не я ли там брожу? — сказал Павел.— Да вот выйти никак не сумею...

И дверь отворилась перед нами, и появилась стройная, подобно девочке в худобе своей, женщина в вылинявшем голубом платьице, и платок пушистый свисал с плеч, а голова была повязана другим платочком.

— Вот и гости дорогие ко мне, по субботнему-то дню, а я только из баньки. Смотрю, кто-то идет...

— Присмотрелась? — улыбнулся Павел. — Ох, да ты и глазастая, Настасья Петровна, как же углядела, да и субботний ли день сегодня?

— Углядела, тебя-то не углядеть! А и гость ты не частый у меня, вот обрадовал, вот обрадовал... А кто с тобой, худышка да застенчивый — познакомь.

— Познакомлю, в дом войдем. Приятель это мой сегодняшний, вот дом с ним ищем да некоторую девушку, не видала ли? Да пошли, пошли, что стоим на ветру.

— Входите, входите,— говорила, улыбаясь, Настасья Петровна.— Что же, все к сроку — и наймам, и сделкам, и свадьбам. Покров скоро — кого и покроет снежком да всем прочим...

Пока мы осматривались, мыли руки, поливали ковшом друг другу над медным тазом, Настасья Петровна собрала на стол. С довольством и лаской смотрела на наши лица и говорила:

— Я ведь знала, что кто-нибудь да заглянет ко мне, но и сама вскорости собиралась к Аннам... Моито сыночки к ночи обещали прибыть... с пирогами, мне Еленка помогала, прибегала уж ко мне, пташечка, звала в гости — это она-то в гости меня к Аннам звала, вспомнила моего мужа, соколика моего, помянули с ней... А я ведь в эти дни, в самые эти дни, и замуж за него выходила, свадьба тогда была — всем свадьбам свадьба...— говорила она, присаживаясь к столу.

— Я все помню,— говорил Павел,— но вот не знал, что Елена теперь так обгонит нас... Ты-то, Настасья Петровна, все сразу не вали в ком, не заматывай в клубок. Нашему гостю понять бы хоть малость, а

то он запутается совсем, пожалуй, уж он и запутался...

— Оно так,— сказала Настасья Петровна,— и я давно запуталась. Ну помянем моего хозяина. Да, забывать мы стали о людях, которых нет с нами, жизнь как будто стала дешева и быстролетна, как воробьиное порхание, но сама-то жизнь человеческая — она не дешева,— говорила Настасья Петровна, а глаза ее светились радостью необъятной.— Ох, не дешева она, жизнь, бесценна она и нежна, как майский лист. Уберечь ее такой много трудов стоит... Я не уберегла. Ты вот дом собираешься найти себе — хорошо,— пристально взглянула на меня.— Да и это не просто, ох как не просто.

— Будет тебе! — сказал Павел.— Будет. Сколько лет пролетело, а все забыть не можешь. Еще замуж выйдешь, с твоим-то характером и уменьем.

— Может, и выйду,— сказала задумчиво Настасья Петровна.— А забыть не могу, не могу, Павлуша. Этот-то Белесый, Запечник-дезертир, что мужа моего утопил. Все ходит, все бродит по полям, нет спокойствия ему. Зверь. Нечистая сила. Один. Не принимают его люди. Век свой тянет.

— Запечник?! — нахмурился я.

— Так и ты его уже знаешь?

— Страшный тип. И низкий до трусости. Гнал меня по лесу, хотел потешиться. Повстречались с ним,— отвечал я.

— Так вот же: он порешил моего мужа...— И Настасья Петровна нахмурилась, но только на мгновение.

— Ищу дом. Но главное, и не дом — место ищу...

— Найдешь, найдешь дом. И место по душе найдешь.

— Он теперь наш,— сказал, улыбаясь, Павел.— Будет теперь поминать нас всю свою жизнь, это я уж вижу; найдем мы с ним дом и сами потом отстроим, обновим.

— Да вы, может, и нашли,— сказала Настасья Петровна.— А вам самим пока ничего не выстроить, потому что дом строится не наспех и не одним человеком. Я вам расскажу, как строил человек со сродниками своими дом целых тринадцать лет и все же выстроил его. Слушайте.

Построил он дом из дерева, длиною во сто локтей, шириною в пятьдесят локтей, а вышиною в тридцать локтей, на четырех рядах дубовых столбов, в основание положили бревна дубовые и камни большие. И двор был велик, огорожен кругом тремя рядами тесаных камней и одним рядом бревен, внутренний двор — палисадником. И потом хозяин пригласил художников, вот как ты, Павел, и медников, и краснодеревщиков и попросил разукрасить все внутри и снаружи. Из дерева, меди и других разных вещей и красок сделали они рисунки и плетения: и гранатовые яблоки, обвитые листьями, и наподобие лилий, и цветы разные — весенние, летние и осенние, и стебли зимние, и виноградные гроздья, и яблоки, и огурцы с усиками, и всех видов листья деревьев — и дубовые, и липовые, и березовые, и ясеневые, и прочие. И там были изображены, и вылеплены, и резаны по дереву львы, волы. Смотрели они кто на юг, кто на север, или запад, или восток. Охраняли, смотрели. И еще там были балкончики и флюгера, и вымпелы, и колесницы летящие с конями... И сделали эти художники умывальники из меди, и лопатки, и чаши, и тазы для нужд умывания, питья и еды. А женщины посадили цветы, чтобы благоухание было кругом...— Настасья Петровна сама оборвала себя, сказала весело: — Вот как все это только начиналось, вот как все делалось. А до свадьбы было далеко, далеко...— проговорила так, как будто утаила от меня то, чем должна кончиться сказка.

Мы сидели молча, и Настасья Петровна не заговаривала. Солнце выглянуло из-за туч и снова скрылось, показав, что дело идет к вечеру.

— Пора и нам собираться,— сказала Настасья Петровна,— пока-то мы еще к Аннам дойдем.

— Ты как будто на нас сон навела,— сказал Павел.— Видишь, и гость притих. Далеконько он забрался, долгий он путь проделал к нам. Да что же, Настасья Петровна, давай и собираться, нас там, пожалуй, заждались.

Когда мы пришли к Аннам, в доме нас встретили Анна-старшая с Марьей и Аня-учительница. Она собирала свои книги и тетрадки со стола, была смущена. Нас не стали ни о чем расспрашивать, а тут же отправили в баню. Павел тянул в баню, торопил, что-

бы мы поспели к приходу гостей. А каких, не говорил, но я-то знал, что все дело в Елене, что и она теперь скоро должна появиться.

В бане сухо, жарко, чисто. Пахло березой и дубом. Воды было вдоволь.

— Вновь я посетил... тот уголок земли...— декламировал Павел, похлестывая себя по бокам веником березовым.

Я еще поддал из ковша на каменку, и все зашипело, задышало жаром.

— Хорошо, на славу! — поддержал меня Павел.— Ну и сходили мы с тобой... Я-то сомневался, думал, блажь у тебя какая-то в наших-то местах обосноваться, а теперь вижу, цель как будто у тебя серьезная, а? — он явно шутил. Я же о другом думал, я боялся теперь встречи с Еленой, наверное, не хотел предстать в роли ухажера, я не хотел быть в этой роли, не играть сюда приехал.

Мы вышли из бани. Воздух в саду был упоителен, полон последних запахов осени, луна в красных прожилах висела на горизонте. В окнах дома горел свет, там ради нас собрались люди.

Мы шли по саду мимо вишен, мимо колодца с журавлем. Я отстал от Павла, оглянулся окрест. Вдруг какой-то запах, дуновение прохлады, прелость листьев напомнили мне детство мое: тишина ночи при свете звезд, и ветер шелестящий играет то теплыми, то холодными струями, и мы в страхе идем садами по теплой земле, ликуя от этого ночного страха...

— Ты чего стоишь? — послышался издалека голос Павла.— Пошли, застудишься.

Голос этот оборвал, нарушил прошлое, но и соединил теперь мое прошлое навсегда с этим садом, с этой местностью, с рекой, что текла где-то совсем близко, с этим домом.

Но самое удивительное было потом, когда я вошел в дом. Вы, может быть, не поверите, да я и сам поверить не мог — остановился на пороге, зажмурил глаза в первое мгновение. Это выглядело, наверное, смешно, когда снова открыл их, даже головой потряс, чтобы избавиться от наваждения: за столом сидела величавая Елена в соседстве с моим другом Савелием.

Каким чудом он оказался здесь, в этой деревне,

рядом с Еленой?! Неужели и он бродил все это время рядом, где-то рядом? И случайно забрел сюда? Мы бросились друг другу в объятия. Елена улыбалась, глядя на нас.

Окрестность эта вокруг городка Мифодьева и была тем местом, куда я собирался в начале лета. Куда потом не хотел ехать. И куда все же привела меня судьба.

# Вторая часть

## Имя, местность

Проснулись мы в стогу сена. Я и Мария. То была другая пора и другое время. Но когда же все-таки это было?.. Как будто бы летом, в зените его, тысячу лет назад. Как будто в другой жизни.

Стало вдруг холодно.

Наслаждайся глупостью, о молодость! Но замечай время. Возлюбленные, вы, которые пересекаете горы и моря... Любите, как вам вздумается. Но замечайте время.

Я помню, мы проснулись в стогу сена...

Мария не захотела сразу ехать ко мне, в мой деревенский дом. И ее можно было понять. Тогда, в начале нашего пути, я сбежал от нее...

Мы спали крепким сном и проснулись. Мы были в поисках деревни, которая приютила бы нас. И так, в этих поисках, мы заснули, найдя стог сена,— нас застала, захватила нега, томление, дурман трав... А что было дальше, не помню. Очнулись от звуков и холода рассвета.

То, что было сном, было сном, а мы уже брели дальше, по росе, в поисках того, что называлось уединением.

Мы вместе увидели. Дом стоял в стороне от деревни. На отшибе. У самого озера. Место было восхитительным, уединенным: дом громадный, из серебряных теперь сосен в обхват — со светелкой, балконом, с флюгером вертящимся. Тихо кругом и безлюдно. Мы прошли сенями, коридорами, лесенками... И, отыскав в темноте дверь, вошли. Две женщины оглядывали нас с головы до ног и с ног до головы, присматриваясь к Машиному мятому платью и мятым моим брюкам. Маша вскинула голову, потом подняла руки. Она как будто хотела дотянуться до потолка, который здесь был невысок, до связок золотистого лука. Старуха сидела в глубине, там, где в проеме окна висела коса. Дом, казалось, был объят то ли кузнечным, то ли плотницким духом — серпы, клещи, рубанки, ста-

мески, цепи... Всего этого было не счесть. Другая женщина, в ситцевом платье, еще молодая и статная, смотрела на меня, то расширяя, то сужая глаза. Крылья носа ее были четко очерчены. Влажные пухлые губы медленно раскрылись. «Будьте гостями»,— услышал я ее голос.

Бабка тут же поднялась плавно и скрылась за печью, загрохотала железным совком, а отдалось медью.

Женщина встала, изогнувшись, легко, как рысь, оказалась подле Маши и провела рукой по ее плечу.

— Хорошая ты. Легкая. Как голубка. Будьте гостями. Располагайтесь...

— Не хочу я здесь,— неожиданно сказала Маша.

— Да мы туда пойдем, в комнату,— подхватила женщина, открывая ряд белых крупных зубов.— Вот сейчас бабка самовар вздует, мы чай собирались кушать.

Маша отступила к двери.

— Мы в другой раз к вам вернемся. Как дом найдем, где жить. У вас не хочу — сыро. Не обижайтесь. Просто сырости боюсь. Не обижайтесь... Нам до темноты надо успеть. Прощайте...

В потемках поспешно мы уходили от дома. Прошли косогором к дороге, пересекли ее и, обогнув придорожную церковь,— вороны взлетели,— бок ее обнажившегося кирпича, вышли, скользнули в улицу, в ряд домов. Хотели было уже идти дальше, к низине, как тут разом оба повернули головы и увидели среди яблоневых и вишневых деревьев почерневший, с серебром и золотом дом. Не сговариваясь, свернули к нему.

Дверь была не то что не закрыта, она была отворена. Мы вошли в сухость, в запах душистый...

Что-то цветастое двигалось в глубине, у печи, в отсветах яркого пламени.

— Это мы,— сказала Маша.

Звонкий плавный голос откликнулся:

— Ну, гости! Слышу...

К нам обернулась женщина, только по пряди седых волос распознать можно было, что это старуха. Маленькая, гладкая, резвая... Волосы ее были прибраны под белый платок и оставляли открытым высо-

кий лоб. Глаза голубые искрились смехом и радостью.

— На пироги поспели как раз,— сказала она, подходя все ближе к нам, улыбалась приветливо, открыто, просто, как будто она нас знала давным-давно.— Проходите, куда глядится... Как вас величать-звать?

— Это мой Василий. А я — Мария, Маша...

— И я — Мария, Марья...— замечательно так ответила старушка.— Будем ладить...

Обе они улыбались, им было хорошо. А значит, и мне стало хорошо. Мы уже сидели за столом. Марья в который раз разливала чай, пододвигая чашки к самовару, неспешно отодвигала одну, подставляла другую... И так же неспешно продвигался и наш разговор... Шло узнавание друг друга.

Остались мы, конечно, у Марьи. Началась наша жизнь здесь. Мужчина должен, естественно, работать везде и всегда. А тут у нас как будто медовый месяц. Хотя никакой еще свадьбы не было, и даже немногие знали, что мы поехали сюда вместе.

Надо было работать.

С чего начинать? Марья выделила мне клеть для занятий, и я, до того как проснется Маша, работал, наблюдая, как поднимается солнце, как птицы то взлетают, то опускаются к земле. Вот застонали коровы и овцы засуетились. Марья вывела их к стаду. Кто-то заглядывал ко мне, в оконце, глазастый, с длинными волосами, в синем платье... Я писал «Белых верблюдов», а вечерами, при свете керосиновой лампы (электричества тогда еще не было здесь), читал поэму Баранаускаса «Аникшяйский бор». Я погружался в мир, где люди совершали мужественные поступки, где проявлялись народные характеры. И этот дивный бор на берегах Швентойи, в сказочной стороне Жемайтии, где цветы, ягоды, грибы, колоски, звери, птицы, Антанас Баранаускас, народный литовский поэт, расположил в хороводе грусти и радости народной жизни.

А ведь мне должно было быть очень хорошо. Так оно и было, если бы...

Помню ночной час на реке, когда мы возвращались из гостей, из другой деревни. Мы двинулись росной травой, потом почувствовали под ногами траву

скошенную, и вот из темноты выступили очертания трактора с косилкой.

Маша почему-то испугалась. Но вскоре пришла в себя и полезла в кабину, любопытная, греться, в замкнутое пространство, устав от окружающего леса, от скрипа дверей в глухой лесной деревне, от впечатлений и разговоров...

Мы вернулись уже на рассвете и не стали беспокоить Марью, тихо забрались в мой чулан. Марья все же окликнула нас: «Это вы... живы...» Может, не спалось ей — да и какой сон в ее годы! Но чувствовалось, она именно нас ждала, потому что, еще поворчав и повздыхав, все же просунула в дверь блюдо, накрытое полотенцем,— подовые пироги с гороховой начинкой.

И снова было утро, часы работы, часы радости и мучений, когда мои «Верблюды» неторопливо, настойчиво двигались от страницы к странице. А я вспоминал свою прошедшую юность, удивительно испепеляющее лето в Средней Азии, когда искал этих «горбатых» на пастбищах, а потом вез их в товарных вагонах. Стоял сухой запах джантака, а потом горький — полыни, когда мы миновали Саратов, и луга, выжженные солнцем, и мое страстное желание — победить в этой жизни, единственной, неповторимой, прекрасной, и щемящее чувство одиночества в этом наступившем взрослом мире, и в то же время ликующий гул голосов, приветствующих меня, принимающих в свой хоровод. Я снова возвращался в прошлое, чем-то схожее с нынешним. То ли запахом, то ли дуновением ветра...

Я писал, и мир прежний преображался, а теперешнее стучалось в окно в образе любопытного создания с длинными, только что расчесанными русыми волосами. Я не мог сдержаться и выбегал на свет дневной, под ликующий свод неба, и по мокрой траве пытался догнать Настену, внучку Марьи. Мы бежали вместе в малинник и возвращались оттуда с полными корзинами влажных ягод. Маша зорко смотрела в мое лицо, как будто видела там что-то такое, чего она не знала во мне.

Помню и тот час, когда Маша стояла на мостках пруда и стирала белье, а рядом Настена полоскала свои тряпочки. День плавно скользил в своей дреме,

даже комары затихли, птицы смолкли. А потом Маша в саду под вишнями варила обед, а Марья сидела тут же у медного таза, где алели ягоды, принесенные нами из леса. И то, что было нереальностью, чудом,— вот мы здесь и вместе! — вдруг обрело пронзительную очевидность: только бы не сгореть дотла, только бы суметь выдержать эту радость. Вот как это было. А вечером, когда солнце играло с нами в прятки и возвращались с лугов коровы, важные, с набухшим выменем, мы брели к озеру и там долго стояли у стен монастыря, пока уже ночные звуки и ночная прохлада не прогоняли нас в дом. В эти мгновения я возвращался мыслями к детству, будто слышал голос матери, который звал меня из сгущающихся сумерек. И что-то хотелось сделать, что-то совершить...

В утренние часы яростного одиночества мне надо было остановить время и очутиться там, в мире, только похожем на прошлое. Мои белые верблюды мчались вскачь, рассекали воздух, как реактивные самолеты... И радость моя была беспредельна.

А Она выходила в струящихся одеждах, розовая от сна и тех лучей солнца, что освещали. Потом возвращалась с озера с мокрыми волосами и звала купаться... Больше уже не давала мне витать в утренних облаках.

Помню и те мгновения среди ночи, когда мы вместе просыпались и, очнувшись от сна, шли в сонный сад, в огород... Остаток ночи проводили в моем чулане... Я был нежен, как будто дал зарок не преступать заповеди; я почему-то представлял себе необъятную степь и нас в этой степи и не мог ничего с собой сделать, да, как теперь понимаю, и не хотел. И Она уходила к Марье в дом. Но следующее утро было так же прекрасно, Она как будто не помнила всего, что было ночью, звала меня нежным голосом, смотрела мне в глаза, готова, казалось, была на все для меня. И я тоже.

Дни следовали за днями, и ночь сменялась ночью. Мы не чувствовали, что время таяло, во всяком случае я думал, что это будет теперь всегда — пора цветения. Утренние часы работы, пробуждение Маши, обильный и щедрый завтрак с рассказами и воспоминаниями, где и Марья присутствовала; и долгие про-

гулки в лес, дары этого леса или озеро с его песчаными берегами, и кустарником, и лодкой, и удочками, и ослепительное солнце, голубые дали, а следом тихий вечер, сознание того, что день прожит так, как надо и как хотелось. В радости, мире, трудах. С нами — запахи травы, крики ночных птиц, и мы у самовара в тепле, рядом Марья и Настена, и еще приходят наши деревенские приятели... Каждый день был полон ожидания, уверенности, что явится чудо.

Не знаю, как это вдруг случилось... И случилось ли это... Маша, я заметил, стала уединяться, задумываться... И с Марьей не сидела, как будто и ее сторонилась... И не только я это заметил. Как-то Марья заглянула ко мне в чулан, повод был самый прозрачный — понадобилась ей мелкая соль, а разговор был непростой. Она говорила звонко, не таясь, о бушующих волнах страха, о том, что мы не имеем права разрушить созданное, она говорила, что и два человека могут утверждать между собой прочно и незыблемо радость, достоинство, честь, благоденствие...

Вот как все это было тогда. Вот к чему все двигалось.

Помню, отыскал как-то письмо.

«Талант — это мужество жить,— писала Маше ее подруга, наша давняя приятельница Надя,— вернее, он от понимания как жить, как и на что тратить жизнь. Духовность — не есть чувственность, и наоборот, и не надо путать... Дух — подобно характеру той Марьи, о которой ты так много рассказала. Сравнений нет. Играйте в четыре руки. Можете в восемь рук. Но не беритесь за кисть, если сыро в ваших глазах (смотри Пушкина «Метель»). И кисть, так же как и лиса, имеет рыжий хвост. Который не всем дается. И пророчество — матерь точности. Пророчество в русской литературе. В построении геометрии духа.

Можно процитировать всеми уважаемого Савелия Петровича, мной любимого за Подвиг в этой, мягко выражаясь, хаотичной жизни. Но не об этом. Далее... далее он говаривал мне: «Ты не обижайся на меня, потому что я избрал такой путь. Жизнь многих рождает слепыми. Иди к Природе, к Солнцу, к Луне —

но не ко мне. Я — по пути. Я — не Ярое Око. Оно еще будет. Придет к тебе. Ты узнаешь. Я — артист. Не будь — театралкой. У тебя свой путь».

Чаще слушай свое сердце — на снегу, если умеешь, на льду... В лесу. Пока не рисуй. Научись молчать. Только это даст потом точность отношений. Не зажимай нос никогда и не отворачивайся. Пахнет всегда тем, чем пахнет. А судить да рядить нужно и стоит только в одном — в построении высокого духа. Прости, и прости, и прости, и, может, долго теперь не увидимся. Вот и все».

Вот каково было письмо.

Лето тогда было стремительным, время двигалось семимильными шагами...

Однажды я поехал в Мифодьев связаться с Москвой, позвонить. Почему я не взял с собой Машу? Кажется, потому, что погода стояла ненастная и делать ей там было нечего. Потому, что я собирался быстро вернуться... Да она и сама не настояла. Короче говоря, я поехал. Стояла действительно ненастная погода: грязная дорога, мокрая одежда, грохот мешков с посылками в почтовой машине... Выбрался у почты, через два часа дозвонился, плохо было слышно, но все-таки мой голос услышали и теперь знали, что я никуда не делся, меня не загрызли волки, не затоптали кабаны. Дело было сделано. Надо было думать, как добраться обратно, к моей возлюбленной.

Но тут появились друзья — а они появляются везде, если человек достаточно расположен расстаться с некоторыми своими пороками, с некоторыми своими пристрастиями, если, если готов радоваться шутке, просто сказанному слову, если готов слушать и разделить хоть в малой степени заботы или причуды других. Так я и делал. И мы славно посидели в тепле и душевном согласии, насмеялись вдоволь. Все пошли меня провожать. Благо, погода утвердилась все же в своем летнем величии. Была тихая светлая ночь, с зарницами. Довезли меня до самой деревни, до самого дома. Хорошо-то как было кругом! Искали Машу, а нашли только Марью. Она была сердита на меня, и поделом, но недолго она сердилась и вскоре сказала, что Маша еще с вечера куда-то ушла. Как будто бы она все ждала и ждала меня, а потом скрылась. Я так понял, что и «беседа» у них была с Марь-

ей. Ушла и не вернулась. Я огляделся. Вещи Машины были на месте. Я хотел ринуться в лес, на озеро, в поле... Но друзья остановили меня, убедили, что в таком деле главное выждать. Мы забрались ко мне в сараюшку и продолжали наши беседы...

Конечно, на душе было плохо. Без Маши плохо. Может быть, я и был виноват, что не вернулся стрелой, птицей... Конечно, виновен. Но не на плаху же. Не под топор.

Маша появилась в самом начале дня. Была она удивительной. Казалось, в ней прибавилось красоты. Она улыбнулась всем. Очаровательная была у нее улыбка. Как и глаза, и плечи. Нас скоро оставили одних.

Впечатления Маши были настолько сильны, что она забыла о вчерашнем, забыла расспросить меня, как я съездил в город. Ее надо было слушать, ей надо было внимать.

Она встретила своих теток — это была целая история...

Она говорила о том, с чем вдруг, неожиданно столкнулась, что нечаянно увидела, как, в незнакомом месте, на мгновение, вернулась в свое детство.

Она говорила торопливо, все время сбиваясь, возвращая уже начатую мысль... Говорила о необыкновенных женщинах, которых встретила в лесу, как они скашивали ряд за рядом высокую траву, и о чем-то перекрикивались звонкими голосами, и смеялись так, что вся окрестность — луга, леса,— казалось, откликалась... И как потом они заметили ее, скоро все выяснили и отвели к себе в деревню («Я вдруг увидела, что была здесь, что вот так же со мной они шли, справа и слева, охраняя и оберегая меня...») и ввели в дом, большой, чистый, светлый; и там Маша увидела себя — фотографию, среди других, присланную к празднику своим теткам, никогда не виденным... В этом доме мать родила ее в самом начале войны, вдалеке от родного дома; но недолго они здесь пробыли, вернулись в Москву.

Она все требовала, чтобы мы теперь же, непременно отправились туда вместе. Ее невозможно было остановить. Никакие уговоры, что она устала, что время идет к вечеру, не помогли. Мы отправились.

Все было действительно так, как она говорила.

Был дремучий лес, и затерянная деревня в нем, и река с поднимающимся туманом, были и ее тетки, румяные, кровь с молоком, с низкими грудными голосами, но плавные, но нежные, но доверчивые... Говорится, что на таких-то земля и держится! Была и изба, светлая, пахнущая травами. Была и фотография. Все было. Но было и то, о чем она не рассказала, не поведала, а может быть, и сама не догадывалась еще. Было ее совершенно незнакомое мне состояние: благоговение, трепетное молчание, она словно прислушивалась к себе, к тому, что пряталось в ее душе. Ее глаза источали неверный, робкий свет.

Не помню, о чем говорили, наверное, о прошлом. Да и говорили ли? И кажется, без слов можно было все понять. Я пытался запомнить ее такой, какой тогда увидел неожиданно для себя, на мгновение...

Обретение покоя... Неужели это наконец пришло?

Улыбайтесь! Дайте человеку, чье имя вы повторяете ему, почувствовать это. Хорошие манеры складываются из мелочей. Приветствуйте своих друзей и любимых улыбкой и радушно отвечайте на пожатие руки. Беспрестанно думайте о больших и прекрасных вещах. Мысль превыше всего. Храбрость, прямолинейность и веселый нрав. Мысль превыше всего.

Как будто что-то было приобретено. Как будто началась долгая, счастливая жизнь... Любовь при закате солнца — яростное, острое, радостное состояние души.

Грустно, тревожно только становилось, когда вдруг украдкой взглядывал на Марью. Было в ее глазах такое, будто она уже что-то решила, без меня, будто она предчувствовала, догадывалась, что скоро, совсем скоро случится...

Я хотел радости длительной, может быть, вечной, я хотел, может быть, слишком многого. И хотел возможного... Но медовый месяц подходил к концу.

Однажды ранним утром — солнце взошло и туман улетучился — я все так же сидел, работал в сараюшке, и все такой же прекрасной появилась среди трав и цветов Маша... И вдруг, бросив полотенце на изгородь, быстрым шагом подошла к моему окну. Она по-особенному подошла, я понял — как стрелой пронзило, если употреблять классические сравнения, именно так и почувствовал и в трепете стал ждать, что же

через мгновение случится с нами, что произойдет.

Все было пока тихо, и листья не дрогнули на деревьях...

Маша улыбалась мне, ее плечи дышали негой, волосы светились от солнца... Вот она молча поманила меня; у меня поджилки тряслись, пока я надевал сапоги, пока накидывал куртку, пока неловко перебирал ногами по неверному полу.

Она попросила пойти на прогулку. Я почувствовал, что мне это трудно сделать, что я должен отказаться... Против воли я кивнул, стараясь не сказать лишнего слова, как можно мягче улыбаться и не смотреть слишком пристально в ее глаза. Пока мне это удавалось. И она была пока что молчалива, но не тиха, в ней будто клокотало все.

Мы приближались к озеру, я предложил Маше покататься на лодке. Она согласилась. Я чуть опередил ее и мостками вышел к привязанной лодке, стал распутывать узел, лихорадочно пытаясь понять, что же происходит... И в это время, в это мгновение услышал ее крик. Я бросился к ней. Она дрожала, как будто с ней случился приступ. Я спросил, что произошло? Она слабо улыбнулась и ответила, что все теперь хорошо, а сначала ей показалось, будто меня засасывает болото. Я ответил, что это озеро. (Как же потом я клял себя за это слово!) Озеро действительно было заболочено. Она кивнула. Передо мной была уже другая женщина. Взгляд ее стал жесткий, движения резки. Мне тоже хотелось сильно закричать, чтобы вернуть ее к действительности, но что-то мешало...

К вечеру стало ясно — мы уезжаем. Обретение покоя было прервано. Ранним утром, прощаясь, Марья даже не подняла глаза на нас.

В Москве Маша подарила мне еще несколько радостных дней. Вскоре же я услышал, что она собирается на Кавказ. Об этом Маша сказала так, между прочим, как о деле решенном. Ехала туда, куда не один год отправлялась вместе с родителями. Я на Кавказе не был ни разу. Она об этом знала, и все же не пригласила с собой. И это тоже было решенным делом.

Наступила осень, для меня поздняя, глубокая, хотя и листья не успели еще пожелтеть. Что делать? Ехать в деревню — я не хотел. В Москве оставаться оказа-

лось нестерпимо без нее. Я сел работать. Грустить было не в моих правилах, потому что жизнь я хотел воспринимать так же естественно и радостно, как подсолнух следует за движением солнца, как конь привольно несется в степи, как ветер, что дует в равнинах.

И все же Маша вернулась в мою жизнь...

# Третья часть

## Весна

И снова была весна. Опять я пропустил половодье, нерест рыб, набухание почек, первые ручьи, струящиеся по лощинам, в том величии, обилии, щедрости, которые есть в нашем Заволжье. Все это я видел и в городе, но, примеряя с тем, что было там, далеко, как во сне, как в детстве, рвался в деревню. Останавливали какие-то дела. Вроде особо важных, неоткладываемых не было, но даже самые незначительные мешали легенде и надежде, что жили во мне всегда, что грели меня и давали связь с прошлым, надежду на будущее: ощущение простора, мощи, нераздельности с природой. И каждый год все было по-разному, по-новому, с новым отсчетом...

Наконец я вырвался, и не один, а с Игорем, приятелем моим, что заранее предполагало сопереживание, участие. Мы разработали маршрут, приготовили карты, хотя ни того, ни другого не надо было, но это ощущение таинства, игры хотелось моему другу.

Еще неделю назад я получил телеграмму от Сергея, несчастной души, решившего посвятить себя литературе. Он звал меня работать, звал на беседу, на душевный контакт. Мы часто переписывались — он рассказывал о деревенских делах, о своем техникуме, где преподавал, о своей семье, о мечте литературной.

Да, должен был я навестить и своих друзей, и осмотреть свой пустой, нежилой дом, заняться им, пока он совсем не развалился. И должен был я насладиться со своим другом беседой, путешествием, открытием.

Я говорил об этом Игорю, а он все кивал, связывая удочки, подбирая грузила и крючки, наблюдая, все ли я взял с собой, и примериваясь, что ему можно не брать, отложить. Но груза у нас все же набралось порядочно, не исключая, конечно, подарки, гостинцы. Взял он бумаги и краски, а мне захватил

блокнотов и карандашей — в художниках есть эта деловитость.

Ночной поезд несся на восток, в Хабаровск, Владивосток, через всю страну, и делал вроде незначительную остановку на костромской земле, которая как раз и была для нас значительным местом. Мы и сели в этот транссибирский экспресс потому, что он приходил в Шарью утром. Оставалось время, чтобы нам потом засветло добраться до деревни.

Я заснул тут же, как только поезд отошел, а Игорь (он потом об этом говорил) промучился всю ночь и отвел душу только в коридорных компаниях сибиряков; у них, наверное, было много общего, потому что друг мой служил там в армии.

На рассвете мы вместе с Игорем стояли у окна, какое-то время привыкали к открывшемуся нам пространству. Свет был пронзительным: там, в мелькавших полях, еще не сошел снег. На редких остановках выходили размяться, купить соленых огурцов. В Шарье поезд нас сбросил на одну из открытых, холодных солнечных лужаек с водокачкой, красного кирпича зданием и зелеными ларьками и исчез.

Начиналось странствие. Когда, много лет назад, я бродил в этих местах, где и познакомился с учителем Сергеем, к которому мы теперь ехали, мне было все равно, где ночевать, когда идти или ехать, где сделать длительную остановку. Удивительнейшим образом находил выход из самых, казалось бы, невозможных ситуаций: шел ночью лесом и вдруг набредал на деревушку, где кто-то еще не спал... Но тут все складывалось иначе. Я уже начинал подумывать, что, может, не судьба нам ехать вместе и я был не вправе брать Игоря с собой...

Автобус должен пойти только через четыре-пять часов, а попутных машин не было. Игорь мой довольно вялым голосом предлагал пойти в гостиницу и отдохнуть там, а весь его вид говорил — заснуть... Не солгу, если скажу, что и у меня был такой же мотив — застопориться, затихнуть, хотя бы на мгновение, после оглушающей столицы.

Но дело обошлось: вдруг появился какой-то шальной автобус.

Мы уселись между стариком и студентками, среди мешков и чемоданов (судьба, подшутив над нами, вдруг взяла нас под свое крыло) и вели дорожные разговоры с девушками под добродушные замечания деда. Руки его были похожи на суковатые ветви дубков, что стояли в моей деревне, затопленные разлившейся Волгой и засохшие, но крепкие в своем величии.

Город, в который мы стремились, имел чудесное название и дивную историю. Назывался он Кологрив. Мы въехали в него в облаках песчаной пыли и уткнулись в столбы коновязи городского базара.

Временная цель была видна — столовая, с расписными наличниками на окнах и желтыми в сборку занавесками, по соседству с пожарной каланчой.

Девушки, замешкавшись на мгновение, вспорхнули и исчезли, как полевые птички. Дед предлагал пойти к нему, но мы были стойки и деятельны — нам предстояло подкрепиться и идти далее, к цели, через реку и лес, где ждал нас дорогой наш Сережа со своей красавицей женой, детьми, больной матерью...

Мы прошли по еловому, сырому, темному лесу, все поднимаясь и удаляясь от реки, и вот уже завиднелись первые постройки сельскохозяйственного училища, красный кирпич, продуманная композиция строений,— выстроенного в предреволюционное время.

Поднялись по тропинке к кладбищу, к мельнице, разрушенной еще в гражданскую войну. А вон и дорога к дому Сергея. Но у нас уже не было сил, и мы сели у кладбища на лавочку, устало опустили плечи и головы.

Вечер наступил тихо. Прошли сутки, как мы в пути, и вот уже рядом дом, до него рукой подать, но идти дальше нет сил. Не осталось сил встретиться с хозяевами в радости, в согласии. Нам ведь надо было дать им заряд чего-то, о чем они мечтали долгую зиму,— как они ждали нас! — о том большом мире, который мы принесем им.

Мальчишки, завидев нас, стали примериваться, ходить кругами. И вот один из них, сын Сергея, закричал:

— Да это же дядя Василий!

Обступили нас, просили показать удочки, до времени спрятанные в брезентовом чехле. Игорь угощал ребят конфетами, и они все вместе повели нас к дому.

У крыльца мы увидели больную мать Сергея — грелась на весеннем солнце, уходящем за горизонт. Но она как будто и не видела, что тепла уже нет. Сидела на венском стуле, который еще в мой прежний приезд мы с Сергеем приводили в порядок, как и всю мебель этого дома. К лесенке, ведущей в дом, Сергей смастерил новые перила, и цвет дерева, еще не поблекший, контрастировал с чернотой дома, темнотой старинных рам окна, хозяйственными постройками и серебристостью поленницы. На ногах у старухи валенки, а на плечи накинут бушлат, и ее неподвижная фигура в свете уходящего дня казалась призрачной. Меня она узнала сразу и голосом спокойным, хотя, видимо, через силу, стала говорить с нами, как будто мы всего лишь отлучались ненадолго, были где-то поблизости. Она говорила, что Сергей поехал «договариваться» о дровах на зиму, а Маша еще не вернулась с работы. Мы сидели и курили на приступке.

— Вот уже и вода сходит,— говорила старуха, вспоминая слова сына, его беспокойство,— а их все нет (так говорил), и бывало, ночью вскочит и пойдет, как будто стучат. У меня, говорит, такое предчувствие, что они блуждают где-то рядом. Места себе не находил. И сейчас вот поехал, а меня упредил, чтобы сидела и ждала. Вот я-то и дождалась вас, то-то он будет горевать, что не первый встретил...— Она все говорила, и мы не перебивали ее.— Помыться бы вам, ребятки, да бани у нас нет, никак руки не доходят поставить. Я вот пойду воды нагрею, вы и ополоснетесь, да детишек заодно вымою.

Николка с Еленкой крутились рядом, показывая свои игрушки, умение, характеры — гости приехали! И соседи, и жившие дальше уже сворачивали — как бы случайно! — не на те тропинки, по которым всегда ходили, а чтобы увидеть нас: кто-то прошел в сарай, потом еще якобы по делу, всем женщинам почему-то вдруг понадобилась вода, и они шли и шли к колодцу, кланяясь нам.

Но в дом, собственно, надо было войти. Это пони-

мали и мы, и мать Сергея, Надежда Тихоновна, и соседи, им ведь хотелось прийти в гости уже сегодняшним вечером, а как быть, если мы еще сами на улице. Мы вошли — сделали такое усилие — в дом и стали раскладываться: доставали гостинцы, пропитание диковинное, московское, чистое белье и тот нехитрый скарб, что нужен хотя бы для небольшого привала. В доме нам выделили комнату, кабинет Сергея, где он, учитель литературы и русского языка техникума, готовился к занятиям и делал свои первые литературные шаги... Здесь стояло много книг, лежали принадлежности для литературной работы, но самой работы, употребленных в дело листов бумаги почти не видно. Книги в глянцевых переплетах вытесняли рукописи.

В доме было сыро и душно. Следы женских рук видны повсюду: они пытались сохранить от увядания этот старый дом, в котором еще в прошлом веке жили учителя поселка, затерянного в глубине лесов; после революции в сбереженных от огня строениях школы разместилась сельскохозяйственная коммуна. Потом все же случился пожар, но снова поселок чудом уберегся. Только мельница и дом сторожа напоминали о беде — стояли до сих пор в том виде, как в момент пожара: в зарослях бузины и лопуха валялась рама окна, были раскиданы остатки стропил и куски покоробленной кровли; черные провалы окон со следами пламени на красных кирпичах создавали ощущение недавности, как будто это только что произошло.

Вскоре мимо окна промелькнула Маша на белом коне, как положено бригадиру, и Игорь, вскочив, не удержавшись, бросился к двери. Старуха, заметив его порыв, тихо улыбнулась:

— Это Маша, Маша прибыла, прилетела, вот и жизнь снова продолжается, ребятишки взыграются, теперь и Сергея недолго ждать.

От Маши, энергичной, молодой, сильной, повеяло полями, цветами душистыми, медом заповедным. Она бросилась нас целовать, не зная, не ведая и не желая понимать, что где-то, может, не принято такое любвеобилие. Она рада была нам и не скрывала этого.

Быстро накрыла стол, и светло стало в доме, чис-

то и душисто, хотя ничего не изменилось, ничего особенного не произошло. Мы не садились за стол, ждали Сергея, а он все не являлся. Уже прибегала поздороваться с нами соседка Паша, зашел Николашка — столяр, тихий мужичонка, бобыль, отправленный к нам на разведку. А самого хозяина все не было.

Маша выгладила свое новое платье и надела его. Накормила детей и уложила спать. И уже совсем стемнело, включили свет, сели за стол, но праздника не получалось. Разговор потек в русле воспоминаний, как река, что делает изгибы, ответвления, затоны. Маша говорила, что совхоз их разросся, объединив несколько малочисленных колхозов, и она теперь бригадир, и ей выделили мотоцикл, но она взяла вот эту лошадь; говорила, что они все хлопочут, чтобы переселиться на новое место, обстроиться заново, чтобы было свое хозяйство под боком, а то нет ни бани, ни зелени, ни огорода. Живут будто и в лесу, а как-то нескладно. Многие в техникуме не работают, а так, пробавляются на стороне случайными работами. Вот Сергей и стремится получить свой дом. Нет у него времени и сил заняться делом: в техникуме преподает. А пишет мало...

Разговор этот был нам не совсем приятен, потому что велся без Сергея. И Маша это понимала, и скоро вспомнила московскую жизнь, как приезжала ко мне и что тогда видела в Москве. Машинка пишущая, которую они в тот раз купили, стояла на видном месте в чехле как памятник или какая диковинная вещь, вывезенная из неизвестных краев.

Игорь, упоенный говором этой женщины, стал «разоряться» — излагать свои соображения по экономике, политике, общественному устройству этого поселка. Мысли захватили его, тем более что слушатели были благодарные. Они согласно кивали головами, вздыхали, воспринимали беседу художника из Москвы самой как откровение.

Странные сны являются на новом месте. Мне виделось, что я лежу ночью в своей деревне и никак не могу заснуть. Лежу не в доме, а в бане и чувствую, что задыхаюсь, и чернота меня пугает, и какие-то тени бродят, и все я хочу встать и выйти, но лежу,

не могу подняться. А там, в углу, будто часы или сверчок тикает — это спасает от теней, привораживает, мешает встать. Потом входит отец, который никогда не был в этой деревне у меня, все собирался, да так и не выбрался, входит он, и вид у него нехороший и улыбка ядовитая, и я, который любил отца всю жизнь, ужасаюсь его вида и того, что он хочет сделать. Я не знаю что, но это меня пугает безумно. Хочется спать, а он стоит, улыбается и зовет меня...

Проснулся в холодном поту, нога моя, завалившись за доски, затекла, хотелось пить. Закрывшись с головой одеялом, рядом спал Игорь, видимо озябший под утро. Свет утра уже проникал сюда, в сарай, через щели. Сарай этот был выстроен с навесом и галереей, откуда спускалась лестница.

Я выбрался наружу. Кругом была тишина, неподвижность; петухи уже прокричали, а птицы еще молчали. Сходил к колодцу напиться, не хотелось будить ни Игоря, ни моих друзей, хотелось побыть одному в тишине, прислушаться к этому начинающему дню, к себе, оторвавшемуся на время от привычек городского быта.

Но недолго мне удалось помечтать. Из дома появилась Маша — заспанная, тепло от нее струилось,— гладкая, плавная, большая. До чего бывает хороша женщина утром со сна! И вот она подходила ко мне, выказывая плавность, округлость линий, свежесть и голубизну тела, отсутствие печали. Радость нового дня, радость утра, жизни, будущего...

— Что же вы здесь сидите, перемогаетесь в тишине? Или уже ходили-бродили? Да вон у вас ноги в росе. И букет собрали, смотрите-ка!

Ее речь была приятна, но и тревожила. Я сказал ей об этом, и она засмеялась грудным, глубоким, переливающимся голосом.

— Ну вы и скажете! А Сережа спит и долго еще будет, если не разбудить, он ведь у меня слабый. Оттого и полюбила, жалею его. Это от отца мне досталась жалостливость, от мужика досталась — мужику и отдается. А где же ваш приятель? Тоже спит, умаялся с дороги. Я видела, глаза у него колючие, цыганские. Выглядывают и все рассказать хотят и спросить.

— На Извозной родился, у Киевского вокзала, мо-

жет, какая цыганка подарила ему свой взгляд. Но у художника вообще глаза цепкие...

— То-то я смотрю, он ко мне «примеривался», пока Сергея не было...

— Он же портрет вам обещал.

— А может, и что другое тут?..— улыбнулась она в простоте душевной.

На галерее появился Игорь, тонкий, длинный, подобно Давиду (скульптура Донателло), стройный и не легендарный, а живой; а за ним голубое небо и куры, которых он спугнул. Он потягивался, вздыхал, глубоко дышал, а потом увидел нас и стал спускаться.

Все последующее утреннее — и вода из ведра, и грубое мыло, и куры, и собаки, и кошки, что тут же носились, всполошенные присутствием людей, всплесками и голосами,— предвещало длинный, легкий, радостный день. А что было с нами вчера: усталость, заботы, ожидание встречи, неуверенность — ушло с ночью и сном в то прошлое, которое только спустя время будет вспоминаться.

Потом было наше долгое движение по ручьям, протокам к месту рыбалки, лодка Сергея, наш скарб, палатки, чугунки, удочки и рыбацкое снаряжение, а позже — азарт ловли, и крупные лещи, и наступающий вечер. Это было поразительно, странно, но мало чем отличалось от обычного движения и цели многочисленного сонма рыбаков в настоящем и прошлом. Был, конечно, смысл в том упоении простором, движением воды в реке, запахом трав, дурманящей влаги и всего желтого, белого и синего, что, отражаясь то от неба, то от земли, наполняло сопричастностью к земле, к природе живой, откуда мы все вышли.

Вернулись мы следующим днем. Я невольно наблюдал за Сергеем и видел, что трещина, образовавшаяся между ним и женой, все расширялась и удлинялась, готовая поглотить все хорошее.

Мы вышли погулять на задворки, к сгоревшей мельнице. Сергей снова стал рассказывать о столкновениях, которые у него были в этом техникуме, с людьми. Он жил рядом с ними и в то же время хотел отделиться от них, а они это чувствовали. Он ничего не понимал и все повторял старое, о чем уже говорил мне в прошлом году, о чем писал в письмах,

жалуясь на трудности, а по сути дела описывал свое бессилие, вялость и тяжелую тоску, которая поднималась в нем. Он не мог сдвинуться с места, что-то предпринять... Только Маша скрадывала это грустное и тягостное состояние.

На пустыре Игорь нашел жернов, круг каменный, на котором мы когда-то, несколько лет назад, сидели с Сергеем и говорили о его литературных опытах, о том времени, когда он уедет отсюда. Игорь нашел то, что нам не хотелось бы находить, о чем нам не хотелось бы вспоминать.

К вечеру стало холодно, принесся запоздавший ветер зимы, и на ночь мы улеглись в доме. Да и после ночи, проведенной на реке, хотелось быть в доме, каким бы он ни был.

Опять наступил рассвет, но, казалось, уже другой жизни, как всегда особенно ясно чувствуется в путешествии, не у себя дома. Рука Маши будила — теплая, дурманящая, коснулась моих волос. Я не открывал глаза, потому что понимал — это наваждение, соблазн...

Мы с Игорем поднялись, простились, может быть, навсегда с матерью Сергея. Дети еще спали, и наша жизнь их не касалась.

Ночью выпал дождь, и Маша тянула Сергея за первыми, ранними грибами. Они проводили нас до парома, и уже на середине реки мы как будто оторвались от них, и солнце засветило, казалось, по-другому. Они еще долго махали нам...

Снова промелькнул городок — площадь, лабазы, каланча, сквер и сонный зеленый рынок. Все это было знакомым, понятным, как десятки виденных подобных городков; конечно, и здесь были свои секреты и легенды, свои особенности, свой выговор, словечки, случаи. Этот город был для нас продолжением того, что видели раньше: Тарусы, Звенигорода, Боровска, Вереи... Там я жил время от времени, там сложилась моя жизнь, мои связи с людьми, а потом уже с моими собственными воспоминаниями, как та тропа под Звенигородом, тропка в сосновом лесу, где на деревьях были мои отметины: под тем орешником мы стояли под дождем, за теми березами я нашел белый гриб...

Вот он и аэродром, поле на окраине городка: несколько деревянных домиков, флюгер — полосатый, наполненный ветром «сачок». Ожидающих было, как всегда, много: студенты, отпускники, огородники. Наступало лето.

Билетов, конечно, не было, но люди никуда не уходили, никуда не спешили, а просто сидели и ждали, зная, что откуда-нибудь что-нибудь появится, дадут дополнительный, почтовый...

И мы с Игорем тоже стали ждать, примостившись у заборчика под березкой. Ожидание на таких аэродромах не тягостно, когда кругом поля, просторы. Мы дремали, только изредка перекидывались фразами и хорошо понимали друг друга. Когда-то мы были бедными скитальцами, но жили сильной надеждой, считая временные неудобства ничтожными, почти несуществующими или существующими только для того, чтобы мы искали, действовали, работали. Я многое, конечно, не помнил уже из тех наших встреч, но первую не забыл, как будто она была еще вчера — под Звенигородом, зимой, в рождественские дни. Я всю зиму сторожил дачу моих приятелей, точнее, жил там до лета, потому что в Москве было негде работать. Со мной был друг, художник Савелий, почти каждый воскресный день приезжали гости. Привлекала местность, наш большой дом, где можно было разместиться, была еще сторожка, там Савелий рисовал. И вот однажды мы стряпали что-то из остатков угощений, привезенных нам из Москвы, и вдруг услышали чей-то свист, потом лай наших собак. Накинув телогрейку, я вышел на крыльцо. У забора стоял парень в легком истертом пальтишке, но с ярким — голубое с красным — шарфом, им было прикрыто горло и часть бородки, на голове его чудом умещалась меховая шапочка. Он махал руками, просил впустить. Я подумал, что это к Савелию, и отогнал собак. Но оказалось, что он и не знакомый Савелия или каких-либо наших приятелей, которые бы ему указали наше местопребывание, хотя потом знакомые и обнаружились, потому что он оказался художником. Попал сюда, потому что просто-напросто заблудился, бродя весь день по Звенигороду, ближним деревням. Конечно, неожиданный гость хотел есть, и мы не скупились, мы были рады всякому, кто тогда у нас ос-

тавался. А потом мы подружились. В то время каждый человек, отдающий себя искусству, был нашим братом, с которым я и мои друзья были готовы делить все. Это, как теперь понимаю, было необходимо, чтобы найти себя.

Самолет приземлился, забрал несколько нерастерявшихся и взмыл в небо. Мы там тоже оказались. Под нами теперь были поля, перелески и деревни.

Ждали весь день, а не прошло и получаса, как прилетели. По всем приметам местный аэродром был похож на тот, с которого поднимались: то же бескрайнее поле, переходящее в лес, те же деревья у деревянных строений, чемоданная братия, разместившаяся, как на пикнике, с бутербродами, водой, детьми. Мы подхватили свой скарб, прошли лесом, пересекли дорогу и оказались в городе. Конечно, может быть, он ничем не отличался от других таких же районных городов, может, в чем-то был и хуже, но это был мой город, самый лучший на свете, с самыми интересными людьми, с прекрасными строениями, с рекой, которая несла свои воды у подножия соснового бора и монастыря, со множеством потаенных уголков; с говором чистым и приятным. Игорь не разделял моих восторгов, он устал от впечатлений. Так он сказал. С кем-то не встретиться тут было невозможно. Как только мы вступили на одну из улиц, перед нами на всем ходу затормозила машина, выкрашенная в немыслимо желтый цвет. Я даже не сразу понял, что это обыкновенный «газик» — «козел». Распахнулась дверца, и оттуда высунул голову Петр Петрович — местный лесник, механик-самоучка. Он был горд и напыщен, но недолго все это держалось на его лице — пожалуй, одно мгновение, и снова, как и всегда, появилась добродушная улыбка. Он кивнул Игорю и обратился ко мне:

— Что, никак в родные места, Василий Иванович, на побывку?

— В гости, Петр Петрович.

— Понятное дело, проведать, конечно, надо, а то уж и я, на что лесной человек, и то слышал, нет вас и нет, Василий Иванович.

— Все дела...

— Ну, естественно, дела, иначе как же без них. Я вот тоже, как, наверное, успели заметить, время даром не терял: сколотил себе средство передвижения. Как на ваш взгляд?

— На мой взгляд, очень даже неплохо, очень даже хорошо. Как же это вы так умудрились, Петр Петрович, дело нешуточное?..

— Оно, пожалуй,— хмыкнул он.

— Но с вашими-то руками!

— Да если еще в придачу моего Петьку!

— Неужто подрос?! И коровам уже хвосты не крутит?

— Девкам проходу не дает.

Я краем глаза взглянул на Игоря. Он тихо стоял, наблюдая за нашей беседой.

— Передавайте привет и поклон жене, Вере Васильевне.

— Как же, передам, только и вы загляните. Я-то подумал, вы на охоту, так вместе бы. Но нет, так заходите с приятелем вашим.— Петр Петрович снова кивнул Игорю.

— Познакомьтесь, Петр Петрович,— сказал я.— Игорь Васильевич, художник, портретист.

— Очень приятно,— протянул руку Петр Петрович.— Это очень приятно и интересно, буду знать, а при случае...— он не стал продолжать.— Что же стоим, садитесь, я подвезу. А с дороги и подкрепиться не мешает, ко мне поедем, Вера Васильевна будет рада.

— Спасибо, Петр Петрович, в другой раз, не сразу, мы хотим сегодня еще в деревню попасть...

— Что за спешка? Не узнаю, не узнаю,— обидчивым голосом проговорил Петр Петрович.

— Мы не из дому, дорогой Петр Петрович, мы с верховьев, заезжали по делу... А что бы взять да и самому наведаться?

— Ну будет, будет,— отошел он,— поехали, что ли, а то люди оборачиваются.

И точно — проходили, кивали, прислушивались...

— Отвези нас на пристань, Петр Петрович, и дело с концом, торопимся, устали до смерти.

— Поехали.

Хотел я заглянуть к своим друзьям, да Петр Петрович все карты спутал. На площади все же застали

мы Юрия, работника районной газеты, он о чем-то бурно беседовал с комсомольским деятелем, присланным сюда взамен буйного молодца, который пугал все районное начальство — гонял на мотоцикле, играл в футбол... Я не стал просить Петра Петровича остановиться, он сам притормозил, но мотора выключать не стал.

После приветствий, поинтересовавшись, о чем они так спорят,— а все из-за сена: кому везти, чей черед,— они спросили, что нового.

— А нового ничего,— ответил Юрий.— Вот вернулся из Польши. Приезжайте, расскажу, если интересно...

В вечерней тишине неторопливо плыли мы вниз по течению, делая частые остановки у деревень. Была суббота, и народу из города ехало много — к родственникам, на огороды. Весь пыл дневной суеты прошел, и мы сидели тихо, смотрели на течение реки, на ее изгибы, на затопленные берега.

Когда опустилась ночь, мы ушли в трюм, но спасения от холода и бессонной усталости не было; переваливаясь с боку на бок, подминали под себя пожитки свои, уходили в дрему, просыпались, что-то спрашивали о звуках, криках. Наверху кто-то пел, кто-то переговаривался — и так неспешно. Как раз к тому времени, когда находиться в этом замкнутом, дрожащем сыром пространстве стало уже невозможно, наступил рассвет.

Я вышел на палубу. Новый день был, как всегда здесь, неожиданный, торжественный. Туман стлался по низинам, река тиха и прозрачна, а где-то там, за лесом, был мой дом.

Пароход приблизился к пристани. И вот мостки, мягкая земля, знакомые лица. Движение кончилось, мы находились у нашей, так долго желаемой цели, никуда больше не надо было бежать, искать, ждать, стремиться... Мы оказались дома. Но вот от этого завершения появилась грусть.

Делать для достижения уже ничего не требовалось. Мы выгрузились, и я попросил Игоря подождать — мне хотелось посидеть у реки.

Я оттягивал встречу с домом, с моими близкими.

Река — сама по себе, как данность, с ее движением непрерывным, прозрачностью, журчанием волны и тем рельефом берегов, который нес на себе печать времени,— как бы требовала побыть здесь.

Мы расположились в ложбине оврага. Сверху по склону долгие годы струился ручей, поэтому здесь росли деревца — березки, ели, был и кустарник. Лодка моя была на приколе, оттесненная в самую глубину заводи, в самом овраге.

Я забрался в лодку и так, покачиваясь, сидел, раздумывая. Игорь размотал удочки и пошел с мостков попытать свою удачу. Он ведь поэтому и согласился здесь остаться, что в это время была самая ловля.

Я, видимо, задремал, потому что Игорь тормошил меня, смеялся и показывал ведро, полное красноперок. Утро было в самом разгаре. Надо бежать и устраиваться. Я проснулся в своей лодке, и мне захотелось сесть за стол, работать, писать. Река была началом, истоком... Хотелось писать о гигантских, грохочущих в ночи поездах, о жизни того большого города, откуда я убежал...

Иллюзия и жизнь соединились здесь, на реке, среди ромашек и колокольчиков.

Что было потом? Что было после того, как кончилась моя молодость? Семь, помноженное на пять. Семь, преодоленное пять раз. А теперь была «встреча» с отцом. Вот к этому и веду... Но сначала по порядку. Мы обладаем пятью чувствами и пятью пальцами, семь гласных я вижу в русском алфавите. Семь для меня — число исключительной важности, потому что семь — число отсчета: ребенок, рожденный на седьмом месяце, жизнеспособен, через семь месяцев у него прорезаются зубы, в семь лет они начинают меняться, и что-то существенное меняется и в нас,— и так далее, до двадцати одного. В двадцать один — зрелость, в двадцать восемь — время перемены в привязанностях и характере, в тридцать пять кончается молодость... Вот они, числа, и я в них. В семь — была война, я был далеко от дома, пил козье молоко, ел щавель и крапиву. Выжил, хотя жил в кинотеатре, в зале, перегороженном простынями. Часто ночевал в вагонах, движущихся к неопределенной цели,— выжил. Дрался, водился с темными людьми,

жившими на чердаке,—выжил. Все, что было до семи, помню хорошо. Потом провал до четырнадцати лет. Будто ее и не было, реальной жизни. Конечно, учился жизни. С четырнадцати до двадцати одного — все помню, в мельчайших подробностях. А потом опять провал — до двадцати восьми. В двадцать восемь очнулся и понял, что мне надо писать и писать. То есть жизнь моя окончательно стала подчиненной этому, и выхода уже не было. И деревня моя была тем местом, где следовало овладеть собой и своими познаниями в языке. Я стал ездить, стал жить здесь, а поскольку жизнь в городе мне тоже была необходима, то я стал странником в жизни моей. Я отстранялся и жил за пределами того, что меня волновало по-настоящему, о чем я писал, что видел, знал...

Теперь я обосновался в огромном доме, предназначенном для большой семьи, двухэтажном, с хозяйственными пристройками и баней, с сундуками, вилами, лопатами, тачками, сбруей, горшками — всем тем, чем был наполнен дом, когда я его купил за бесценок. Бесценный дар, который был мне отпущен, и я писал в этом доме, рядом с лесами, полями, цветами, травами.

Игорь приносил рыбу, ходил с бабами по ягоды, засиживался где-то с моими знакомыми до рассвета, звал меня на танцы, приводил Любовь, или Веру, или еще кого, чтобы я пошел со всеми. А на меня накатилось, нашло. Я был глух и нем к живым людям, которых любил страстно, но которым сейчас не мог дать ничего — вот только эти разбухающие страницы. Была жара, как мне говорили, потом пошли дожди, и снова наступили чистые ясные дни. Но я не знал ничего об этом, меня в этом не было, я пропустил — писал и днем, и вечером, и ночью, впадая в недолгий яркий сон, где продолжалась все та же работа. Эти дни как будто вычеркнуты у меня из памяти, как будто то прошлое, которое я возвратил с помощью моей памяти в настоящее, поглотило и это настоящее.

Однажды вечером вдруг понял, что сижу один, совсем один в большом пустом доме. Стал бродить по комнатам, рассматривая предметы, которые существовали еще до меня, и те, что были завезены мною. Я как будто не понимал, почему оказался здесь, по-

чему не исполнил то, что намеревался: не привел дом в порядок, не починил крышу и не сделал еще многое из того, что хотел сделать. Так я бродил в растерянности, непонимании, в грусти, не знал, с чего начать. И тут появился Игорь. Не застав меня на обычном месте за столом, стал звать. Я откликнулся. Он сказал, что получена телеграмма от матери. Нет, этого не сказал тогда, это потом так все совместилось. Игорь просто удивился моему виду, по его словам, беззаботному, заметил, что и глаза улыбаются.

Тут он мне и сказал, что пришла телеграмма от мамы, и она вызывает, просит срочно приехать — с отцом плохо.

Так я уехал, не насладившись отдыхом, не поняв, что это такое... Утром, ранним дымным туманным утром меня пришли проводить многие. Я запомнил сочувствующие глаза, молчание, мольбу — Игорь предложил поехать со мной, но я, поблагодарив, отказался: мне надо было побыть одному и встретить все неожиданности стойко, смиренно. К тому же мне самому пришла пора стать опорой.

# Четвертая часть Голоса

Эх, с ветерком поехали! Пылало солнце, но в снежной февральской Москве еще нельзя было понять, к чему это. Может, понять-то и можно, а вот увидеть никак нельзя.

Дорога дальняя, в узелок не завяжешь.

«Здравствуйте, Вас. Ваныч! На днях вернулась с курсов из Костромы в нашу деревню и сразу пишу вам. Здесь у нас так здорово, просто замечательно! Я бы очень хотела, чтобы Вы приехали. Необыкновенно спокойная ленивая жизнь. Чего, мне кажется, как раз Вам нужно. И недостает. Всякая усталость исчезнет бесследно. Какие розовые снега, лес неподвижный, тепло русской печи, дух покоя. Мне будет жаль, Вас. Ваныч, если Вы не приедете — ведь Вам так нужно отдохнуть. Я знаю, как Вы устали за этот год. Всегда Вас ждем. Ваша Ан.».

Дорога дальняя, в узелок не завяжешь... Да оно ведь боязно без сапог-скороходов...

О путешествующих, странствующих...

Я поехал тогда не один, а с другом своим — Савелием.

Хочу вспомнить его тогдашнего: и голос, и походку, и цвет волос, и тот заразительный смех, от которого и деться некуда было, и уходить не хотелось. Дружба связывала нас многие годы. Мы не просто навещали друг друга. Мой дом был его домом, и его дом был моим домом, где бы мы ни жили. Подмосковные города и деревни тоже были нашим кровом. Там я писал в тишине и приволье, наблюдая немосковскую жизнь. А Савелий рисовал. Он мог рисовать и на картоне, и на крышках от посылочных ящиков, мог мастерить что-нибудь из консервных банок, коробок из-под яиц, с удовольствием рисовал углем в школьных тетрадях или малярной кистью на поко-

сившемся заборе под вишнями... Что же это были за времена!

Мы приехали в деревню, когда и дороги, и косогоры — все было в снегу. Никуда не торопились: медленно ели, медленно ходили, не торопясь разговаривали, как будто мы здесь вечно собирались жить.

Еще замышляя поездку, хотя и собрались в один день, хотели быть независимыми от ненадежного транспорта, от гула. В то же время предполагали не сидеть на одном месте, а устроить настоящее путешествие, странствие — от леса к лесу, от поля к полю, от деревни к деревне... Но дело-то было зимой. Вот мы и решили взять с собой лыжи. Легкую одежду, куртки, рюкзаки с провизией. Об одном забыли. Что время, на которое попала наша поездка, было временем последних морозов.

Раннее утро в Костроме выдалось тихим. Стоял мороз, и все вокруг казалось сизым и белым. Было холодно, и хотелось спать. Но праздничность и торжественность этого скованного наряда деревьев, домов, проводов,— как будто новый год вернулся снова,— веселили нас, и мы не унывали, хотя в гостинице и не было мест. Там, конечно, стояли пустые кровати с белоснежными покрывалами, но нужен был маневр, искусство, чтобы попасть туда. Какое-то время мы сидели в креслах, перемаргивались с дежурными, но все было попусту: кто-то другой должен был решить, кто-то еще спал, но должен был прийти вот-вот. Уже засыпая в креслах, как сквозь туман увидели что-то воздушное, отдохнувшее проплыло и исчезло. И тут же к нам подошла дежурная (как будто из какой-то оперетты) и шепотом, испуганно, боязливо, но и с долей шаловливости предложила поселить нас в номере литерном, люксовом. Тут же мы подхватили эти «драгоценные» ключи и уже через полчаса блаженствовали на дубовых кроватях под верблюжьими одеялами. В нашем распоряжении была спальня, гостиная и кабинет. Чего же нам еще не хватало?! Мы чувствовали себя настоящими опереточными королями!

Савелий все говорил, когда мы еще только собирались сюда, когда были еще в Москве: «Подумаешь,

твоя Кострома! Видывал, ездил к тебе... Но ведь то было летом, чудной ты человек, время-то какое! А теперь не лето, зима на самом своем исходе. Рыбу удить я не умею и не люблю. Сидеть в избе не хочется. Потянет на воздух, а там снег по колено, мороз по уши — что делать?..»

«Да я и не настаиваю,— говорил я.— Твое дело. Поеду один. Буду смотреть, как солнце играет, как снег блестит».

Такой примерно у нас был разговор перед самым отъездом, когда за окном была слякоть, серый день...

И вдруг мы оказались на празднике, к тому же в теплых постелях... Но, без шуток, надо было как-то выбираться отсюда. Скромность, непритязательность и еще раз неприхотливость, выработанная у нас годами, требовали своего.

Как это ни странно, мы почему-то оказались в торговых рядах, где, правда, уже ничего не продавалось (последние всплески дня). Большие и малые мучные, мелочные, рыбные, табачные, масляные, молочные ряды — так они когда-то назывались — были скорбны, но все же нам привалила случайно удача: мы купили рыбу, неизвестно откуда взявшуюся,— толстых, откормленных окуней.

Ходили к пожарной каланче и к гауптвахте, где когда-то содержали офицеров под стражей, а теперь размещалась детская библиотека. Мимо присутственных мест, не заходя туда, вышли на бульвар и оказались у музея — мы вошли и бродили из зала в зал, любуясь портретами женщин и мужчин в кружевах, с перьями и прочим. Лица были превосходные, как заметил Савелий. Все это вывезено из бывших имений, усадеб — работы большею частью крепостных. И лица смотрели на нас то улыбаясь, то хмурясь, то ухмыляясь. И эти наряды, кринолины и фраки, сюртуки, визитки, и легкие газовые платья с кружевами, и департаментские мундиры; военных попадалось мало. Все это в вишневом и изумрудном тоне напомнило мне близость моих мест, Нероновскую усадьбу, художника Григория Островского, Солигаличские просторы, сторожа усадьбы Аврамия Макарьевича...

Нам надо было принять решение, куда вначале

ехать и как добираться — не идти же от Костромы на лыжах! В Москве мы разработали некоторый маршрут, но теперь на месте он нам не казался столь удачным. Здесь все выглядело несколько по-другому. Еще дома, когда прокладывали маршрут, решили забраться куда-нибудь в самую глубинку, а уж оттуда искать выход. И такое место было. Стояло оно где-то в конце нашего следования. Теперь же оно вдруг переместилось в начало. Прогуливаясь по городу, мы зашли в кассу Аэрофлота и купили билеты до Совеги (только туда завтра и летали самолеты) — так называлась эта отдаленная местность, куда и дорог не было, куда Иван Сусанин супостатов завел в дремучие леса, где казачьи отряды прятались от императрицы Екатерины и обосновали поселение, существующее и поныне, и где потомки сохранили говор и нрав своих дальних донских родственников.

Место, можно сказать, историческое. Но зачем нам-то туда отправляться? Так меня спрашивал еще в Москве Савелий. А тут ему самому захотелось начать наш путь на лыжах именно оттуда, из самых дебрей, где даже шума трактора или гула самолета не было слышно. Местность, о которой я говорю, находилась на границе двух областей, то есть в самом нежилом пространстве, труднодостижимом, почти без дорог. Административное око не часто обращалось сюда, это была как бы ничейная земля.

Итак, мы проснулись. Светило солнце. Денек был что надо! Хотелось на лыжи, в лес... Тогда была зима. И прыгали птицы — снегири с красными грудками. Помнился еще летний лес, встречи в лесу и в округе...

Там где-то было детство — яблоки, груши, вишни, рябина... Бессмертие природы и человека с нею... Счастье во всем — в природе, любви, дружбе.

Утром всегда так было, с детства помнил: квадрат окна скользит по некрашеному полу оранжевой заплаткой и опускается на твое лицо. Тогда ты сбрасываешь суконное одеяло на сосновый пол, откидываешь тюлевую занавеску, припадаешь к окну кудлатой головой. Квохчут куры во дворе, полощется утя в тазу, коза лезет на забор, на жерди. Трава-мурава лос-

нится от утренних рос, и дни такие кудрявые, такие бархатистые. У края деревни за жердями погоста особенно густая трава — у светлой речки. И в полдень так печет солнце, что не быть бы ожогу. Но нет, пронесло, облако подвернулось, и разразился теплый деревенский ливень. И вдруг на пути — сооружение из гнутых осин, похожее на сарай. Юркнул туда, в свежее пахучее сено, и затих от блаженства, и заснул на мгновение — и сон цветной, как радуга зимой, как флаги корабельные...

С детства помню себя в многоцветном мире. Перед глазами красная заплатка городка — кирпичная стена, без проемов, без трещин — затвердела в серых клетках царского цемента стена реального училища, где к тому времени, когда я уже существовал, размещалась средняя школа. Но я не учился в ней и никогда не переступал ее порога. Потом приезжал лишь к тетке в гости. Но помню, что будто ходил по звучным лестницам. Так, наверное, мне хотелось. Помню желтый торец больницы рядом — меня притащили сюда и делали надрез на ноге, чтобы вытащить стекло. Дальше был городской пустырь, где пестрели стебельки цветов. Железнодорожная насыпь серо-коричневая, поезда здесь не ходили. За пустырем был перекресток дорог. Одна из них, заваленная гравием, широкая и торная, вела в деревню. Другая, узкая и заросшая кустами,— к сиреневому строению, крытому гнилыми досками, почерневшими от дождей и времени. В пыли, потный и ослабевший, сторонясь крапивных кустов, шел к этому деревянному амбару, а когда подошел, стала уже опускаться ночь и холод,— и залег, свалился от усталости на отвердевших, сырых мешках, все же с достоинством рассматривая ребристую крышу амбара и алое небо над головой. Так и заснул на мешках.

Савелий был флегматичен — полное тело, полное лицо, волосат, бородат. Очи овальные, широкий лоб. А руки короткие, но подвижные, и сама кисть мастеровита, приспособлена к работе, и вообще он был мудр, однако принимал, бывало, злобное обличье и

был суров во гневе. И терпел многое от иных людей. Хотел верить в добро. И жил в надежде, работе, всяческих трудах. Скоро гневался и скоро отходил. И сам, случалось, на себя сердился. И странно, к чужим относился терпимей, чем к друзьям своим. Правда, мудрость его часто выходила боком. Были у него женщины, но мало счастья он от них имел — одни разговоры, да споры, да ссоры. И с юности своей был в работе, что развило в нем трудолюбие, но и надорвало силы телесные.

Мы летели недолго, кроме нас и, естественно, летчиков, никого не было. Савелий спросил: «А полетел бы самолет, если бы нас не было?»

Голубоглазый, смеясь, ответил что могли и не полететь, оттуда запроса на самолет не было, хотя почту и нужно было отправить. Но это можно было сделать и в какой-нибудь другой день. Так мы и летели низко над землей на маленьком почтовом самолете: откидывающиеся лавки по бокам, в проходе мешки с почтой и наши лыжи в чехлах. Болтало прилично, но вид заснеженных полей, лесов успокаивал. А шум мотора даже убаюкивал. Мы не разговаривали, но были в том напряжении, какое бывает перед принятием решения. Мы оба много ждали от нашего «путешествия».

Опустились плавно — в безмолвие, тишину, объятое нетронутым снегом пространство. Летчики, оставив нас одних, скрылись в рубленой избе, а мы стали на лыжи, накинули рюкзаки и тронулись в путь, по земле казаков-совеган. Название этой местности дала река Совега, а жили в округе выходцы с Дона. Однажды я уже здесь был. В окрестностях в то время появились волки, видимо-невидимо. Они забирались на скотные дворы, резали скот. И вот совегане вызывали на отстрел охотников. Тогда меня приняли за профессионала. И теперь, двигаясь за Савелием на лыжах, я думал: за кого же нас сейчас примут, кем покажемся совеганам?

Плечи Савелия в толстом свитере ходили ходуном. Он сильно отталкивался палками, берег свои ноги для долгого пути. Вскоре испарина белым инеем выступила на спине, над верхним карманом рюкзака.

Мне за ним хорошо было идти. Дорога среди леса с единственными следами трактора была, конечно, мало приспособлена для ходьбы на наших узких лыжах. Но это ничуть не смущало меня, как, наверное, и Савелия, потому что он двигался, как танк. Меня занимала мысль: долго ли мы пройдем в этом темпе? Сохранится ли то единодушие, которое было в Тарусе, в Сутормино, под Звенигородом, на Брянщине, когда мы двигались по Десне, да и в самой Москве?..

«Кострома моя — Костромушка — моя — белая — лебедушка — у моей ли — Костромы — много — золота-казны...» Эти песни, что пелись когда-то при начале и конце полевых работ, да и теперь еще поются в глубинках по малым рекам во время смены времен года, вспомнились мне теперь — так весело было бежать на лыжах за Савелием, он такой темп взял, что дух захватывало.

Вспомнилось и как чучело из соломы и рогож — Кострому — несут к воде и топят, хоронят Кострому...

Савелий обернулся, спускаясь с горки, и угодил в сугроб, весь в него зарылся. Я освободил его от рюкзака, помог подняться. Мы хохотали без причины — от воздуха, тишины, оттого, что мы еще молоды, здоровы, крепки...

А вскоре нам открылась деревня, вернее, село, потому что на горушке за домами стояла церковь. Савелий крикнул через спину, что цвета синий и серый преобладают... Он остановился, упершись грудью в палки. Замер. Я стал рядом.

— Ну что? Будем входить в селение это? — он смотрел на меня, улыбаясь, раскрасневшийся.— Как будем дом выбирать?

— Чтобы большой! И чтоб деревца перед домом, березка, а может, и липа, и ель,— ответил я, тоже улыбаясь ему и тоже неизвестно почему довольный всем.

— Из труб-то дым идет?

— Идет.

— Значит, люди живут.

На том и порешили, двинулись дальше, уже се-

лом. Нигде никого не было видно и не слышно ни людей, ни собак, ни других животных.

Стоял удивительно тихий солнечный день, и громады домов в два этажа казались сиреневыми с отливами и переливами: внушительность подклетей, амбаров, крытых дворов, деловитость всего соседствовали с резным балкончиком, с русалками, солнцем и луной, какими-то надписями, тоже резными, как и наличники, тончайшей работы... Уже виднелся последний дом, за которым был частокол, замыкающий село. Я помнил дом, в котором останавливался когда-то. Мы приблизились к нему. Стояли липа и березки, но из трубы дым не шел, а окна забиты накрест досками. Так это выглядело. Так это было. Савелий кивнул мне, и мы пошли дальше.

Последний дом не имел таких внушительных размеров и выглядел даже неказисто — и скотный двор был обрублен, и балкончика не было. Но сразу за домом начиналась березовая роща, а на противоположной стороне возвышалась величественная липа, расщепленная молнией,— след лета. Мы подошли ближе, сняли лыжи и, оставив наше снаряжение у порога, поднялись по приступкам. Дверь была приотворена, слышен был гомон как будто застолья. Мы вошли. А тут шла работа нешуточная — разделывали свинью. Двое в запачканных фартуках доканчивали работу, выгребали и выскребали остатки, обнажая нутряное сало. Еще несколько человек сидели на лавках. Воздух в избе стоял теплый и сладкий. В глубине на печи лежали дети и смотрели на нас, вошедших. Взрослые смутились приходом незнакомцев, но женщина, видимо хозяйка, нашлась, засуетилась, приглашая раздеваться и быть гостями. Наши куртки с красными, синими и белыми полосами, лыжные шапочки на голове, свитера и прочая экипировка выглядели, наверное, более чем странно в этом доме. Хорошо еще, что рюкзаки оставили у двери. Но пауза, молчание долго продолжаться не могли.

— Рыбачить прилетели? — спросил один.

— А не охотники ли?—отозвался другой, они стояли ближе всех к нам.— Мы за охотниками посылали, на отстрел волков, замучили они нас.

— Слышали, самолет приземлился, смотрим — идете, думаем, кто такие...— прибавили и от лавки.

В северных деревнях обычно не задают вопросов, ждут, пока сами гости все расскажут. А тут все вышло по-другому...

Савелий, напустив на себя вид ленивый и вальяжный, сказал, что мы рады приему, оказанному нам, что мы вовсе никакие не рыболовы и тем более не охотники, что мы приехали из Москвы отдохнуть, походить по лесу на лыжах, что нам здесь очень нравится...

Я еще добавил, что был здесь однажды несколько лет назад, мне также говорили о волках. Хотел было сразу спросить о заколоченном доме, но пока не стал.

Все кивали, соглашаясь, не веря ни одному нашему слову.

— Вы идите к печи, к детишкам, отогревайтесь,— повторяла хозяйка,— а мы тут пока что управимся.

Это была полная розовощекая красавица, видимо не раз рожавшая, но не утратившая и, может быть, от этого прибавившая величавости. Глаза ее карие, черные волосы, прядью выбившиеся из-под платка, наводили на мысль, что она как будто только что с донских просторов.

— Да и я к вам подсяду,— откликнулся старичок от окна, от лавки.— Не возражаете? Люблю перекликнуться словом со странниками. А вы ведь странники? — говорил он, уже прислоняясь к печи.— Или ругать нас приехали из района, а может, даже из области? Но мы ни в чем не виновные, хотя и виновные, конечно. Дорог у нас нет, подвозу да вывозу. Но вы нас не очень-то ругайте, нам бы помочь надо, подсобить, без дорог беда. Во времена давние, как бы это сказать, исторические, тогда, конечно, подсабливало, выручало бездорожье — прятаться сподручней... А теперь-то зачем?

— Это когда же? В какие такие исторические времена? — спросил Савелий, внимательно разглядывая старика: его жиденькие седые волосики, морщины на шее, весь его облик деревенского говоруна, руки, что ходили то плавно, то ходуном...

Старик тоже остановил свой взгляд на Савелии, приглядываясь к нему, но и на меня как будто косил другим глазом — прикидывал, соображал. Савелий, я видел, еле сдерживался, чтобы не засмеяться,

— Вот что я вам скажу, ребята...— помолчав, ответил наконец старик (а к нашей начинающейся беседе уже стали прислушиваться все, кто был в избе, даже мальчишки свесились головами вниз).— Вот что, ребятушки, оглашу вам — никакие вы, конечно, не уполномоченные... Но и странниками еще не стали... Вы уж не обижайтесь, ребятки, вижу, хорошие, интересуетесь жизнью... Путники вы. Только куда путь-то держите?

— Ты ответь сначала на вопрос мой,— сказал, улыбаясь, Савелий.— Что это за исторические-то времена? О чем ты упомянул?

— Да пустое все,— сказал старик с улыбкой, с ухмылкой,— сказки наши здешние. Это когда наши прадеды бежали да скрывались в этих лесах. Отряд Стеньки Разина под началом Илейки Пономарева да Митьки Куварнина. Четыре сотни конных да три пеших с пятью пестрядинными знаменами...

— Красочно,— сказал Савелий.— Как ты, Василий, считаешь?

Я уже много слышал об этом отряде, и не только от местных жителей, но ответил так, чтобы возник разговор о доме заколоченном, что беспокоил меня.

— Мне об этом Завьяловы рассказывали, Прохор Кузьмич.

— Слышь-ко! — откликнулся тут же старик.— А я тебя припоминаю. Чуб только тогда был погуще, и будто летом это происходило, была другая одежда... Да, Завьяловы-то уехали. Как Прохор преставился, так и съехали, отправились в другую сторону счастья искать, в городскую...

Помолчали, и все вокруг притихло. И снова заговорил старик, закуривая папироску:

— Не часто балуюсь, а про запас держу,— сказал он, затягиваясь так сильно и глубоко, что даже страшно становилось.— Я могилку-то потом покажу. Да. Хорошие вы ребята. Ну что же... Родов пять нас тут, не более. Завьяловы вот да Морозовы, Дудины, Поповы... Еще Шестаковы... Пожалуй, все. Я, к примеру, от Шестаковых...

Опять замолчали. Как будто семейный дух опустился к нам — присутствовать с нами.

Вскоре мы уже были участниками начинающегося

пира. Не буду славить благоухание еды, пищи, приправ и разносолов, поскольку не за этим же мы ехали, проделали такой долгий путь,— буду гнать коня к цели.

Нас усадили за стол (как усадили бы и в любом другом месте, куда бы мы ни пришли): когда я голоден — это явление физическое, когда голоден мой ближний — это явление нравственное,— и хозяин, тот человек в фартуке, на которого мы сразу натолкнулись, когда входили в дом, сказал слово. Он переоделся, как и брат, что помогал разделывать тушу. Теперь на нем белая рубаха, застегнутая доверху, серый костюм. Так же одет и брат. Он говорил витиевато, может быть, даже высокопарно, но это не казалось неуместным. Он говорил, что как распорядитель праздника, приветствуя добрых соучастников, хочет сказать слово обильно и щедро. Славил дары лета, смысл человеческого существования, человеческую стойкость.

Савелий, я видел, наслаждался лицами, жестами, говором спокойным и достойным. И сам пытался быть со всеми, как и я, на равных. Он преобразился, и когда мы время от времени взглядывали друг на друга, чтобы найти подтверждение нашему восторгу, изумлению, на нас сразу обращали внимание и улыбались. Царило чувство единения и чистоты. Здесь, в этих тесных стенах, присутствовали любовь, сострадание, смех, страх, откровение. Не доверяя себе, я видел, что это так, наблюдая за Савелием.

Долго продолжался этот пир, мы видели, что не только сидевшие рядом люди нужны были нам, но и мы были необходимы и старику из рода Шестаковых, и братьям, что приняли столь радушно нас в свой дом, и другим соучастникам пира.

Хозяин встал и, оглядев всех, сказал:

— Помянем и Прохора Кузьмича! Он был лучше того, как мы знали его, а и сам он себя не знал, как и мы все... Но вспомянем Прохора и всех наших сродников и будем всегда их помнить. Многочисленны, выносливы, легко переносим мы жару и холод, дождь... Поселились предки наши в лесах, у непроходимых рек, болот, озер... и теперь все это обернулось богатством...

Хозяин задумался на какое-то время. Остальные

сотрапезники его тоже не прикасались к еде, ждали, скажет ли он что еще или какое-либо действие совершит. А он только кивнул, тряхнул головой, видимо устав, так и не проронил, скажем, «бодрствуйте», или «ядите», или что-нибудь в этом роде.

Время было позднее. Нам с Савелием надо было хорошенько отдохнуть, чтобы завтра со свежими силами отправиться дальше. Я взглянул на друга, а он уже сам искал моего взгляда. Кивнул мне, и мы стали прощаться.

Хозяйка тоже встала из-за стола. Оказалось, что все было приготовлено для нашего отдыха. Она проводила в светелку, где было не так тепло, как на печи, но лежали тулупы. Это было как раз то, чего нам и хотелось.

Мы остались одни. Скоро темнота ночи перешла в то полуночное мерцание звезд, когда кажется, что уже наступил новый день — окно здесь было широкое, обещало нам показать завтрашнее солнце во всем его великолепии. И мы, пожелав друг другу спокойной ночи, заснули в блаженстве, приберегая на потом впечатления сегодняшнего вечера.

На следующий день никакого солнца не было — была пурга, метель. Нас посадили в кибитку трактора и долго везли куда-то. Мы, конечно, представляли, куда едем, на это был и уговор. Нас обещали довезти до лесопункта, оттуда, как говорили, и дорога пойдет, и в лесу ветра почти нет, и красота кругом, а может,— с надеждой смотрели на небо,— и утихнет к тому времени пурга, еще и солнце покажется... Пока же мы оказались «замкнутыми», и было такое ощущение, что нас везут «за кудыкину гору».

Когда выбрались на свет дневной, ослепило солнце. Трактор замер на лесной поляне, у времянок и складов лесного хозяйства. Наезженная дорога блестела, тишина стояла невероятная. Мы закрепили лыжи. На прощанье нам советовали держаться дороги, далеко в сторону не забредать, потому что деревень теперь нет по той дороге, а заблудиться вполне можно. К вечеру же, сказали, если никуда не попадем, можно выйти на большак, по которому идут автобусы — развозят лесорубов по деревням. Сомдобо, Пихтино, Кленово, Мякшевица, Стовица, Трубино, За-

польское, Жарское... Вам в самый раз — выбирайте какую хотите!..

И мы помчались. Эх, с ветерком! Пылало солнце. Снег слепил глаза. Но спуск продолжался недолго, скоро мы углубились в сосновый лес и, заметив лыжню, пошли ровно, не торопясь, огибая возвышенность, но пытаясь все же взобраться на нее. Мы следовали движению лыжни: то сворачивали явно с летней дороги, то кружили вокруг чащобы; иногда мы удалялись от лыжни и сами прокладывали себе путь, заметив солнечную поляну, или рябину с пунцовыми ягодами, или нарядную птицу в кустах, за деревом...

— Не жалеешь? — сказал, останавливаясь, Савелий, запыхавшийся, довольный, распаренный.— Не жалеешь, что ружье не взяли?

— Нет,— ответил я.— Ружья бы развели нас, а вместе веселей!

— Разбрелись бы, а сходясь — хвастались... Это хочешь сказать?

— Не только. Идем мы, а кругом все белое да зеленое... И воспоминания наши обретают живой вид в такую минуту.

— А я сейчас вспоминаю свой подвал на Колхозной — мастерскую... Перед глазами прошлое... Где-то за горизонтом, опять же за семью горами — в брянских лесах,— мать. Еще племянница, брата моего погибшего дочь, да невестка, которой шлю открытки.

Пока Савелий говорил, он палками и лыжами исчертил весь снег вокруг себя. Были тут какие-то знаки, рожи, фигурки человечков.

— Рассказ твой печален,— вздохнул я.— Мне тоже вспомнились дни, прошедшие в этих самых краях. Тут мы с Машей на озере все лето любовались друг другом. Как вспомню, дурно делается... А что вышло из этого потом? Суета, гомон, поездки в «модные» местности или создание таковых, куда наезжало с нами видимо-невидимо... Помнишь Звенигород? Там только все начиналось — и молодость наша, и страсти... Быстро время прошло. Как это: «Выдумывать истории мне надоело, обращусь-ка к себе да своим близким»... Вот и у нас с тобой что-то подобное. Помнишь, ты говорил мне в звенигородских лесах: если это любовь, то почему имя Роза? Вот так всегда. Но ты тоже не обманулся — ты работал в

молчании, в упорстве. Ты рисовал, и к тебе сходились люди; ты с ними вел беседу, смеялся, ты смотрел им в глаза и продолжал работать...

Савелий слушал, улыбался, но горечью сквозила эта улыбка. Сделал палками еще несколько разводов на снегу и опять стал чертить какие-то цифры, приговаривая:

— Вот так, Василий Иванович. Ну что же, я согласен — стану вычислять, вытаскивая и нужное, и ставшее вроде бы уже ненужным. Теперь может пригодиться... старое и захламленное... Начну с конца. Нынешний год как будто благополучный, даже удачный. Все есть, куда ни глянь: и мудрость, и деловитость, и мастерство, и приятели — не говорю, друзья, потому что это другой счет... Но оставим. Год хороший, и желать лучшего нельзя, не вся же это жизнь, один-то год. Запомнилось лето — яблоки, медок, пасечник Антон. Работал не покладая рук, а кругом была ласка, согласие. Следующий и далее — как дремучее что-то, зимнее, до синевы, звенигородское, когда и ты со мной жил... Зимнее-зимнее, до боли в груди: валенки, калоши, шапка, дрова, овчарка Рекс... И, кажется, любовь, если назвать это любовью то она. Только почему имя — Роза?.. Дальше — год московский скудный, голодный, как никогда, и вспоминать не буду, общежитие спасло. Тот год должен и ты хорошо запомнить. Тогда мы еще не были знакомы, хотя были рядом и только случайно не встречались. Ходили в одни и те же комнаты, к одним и тем же людям. Мужчинам и женщинам... Годы учебы. Потом конец, тьма, значит, неученье начало берет. Требует силы, необычайности. А мы еще юные, время московское длинное — и Фаворский в то его последнее лето, и скульптор Иван Семенович Ефимов, его друг. Говорит достойно, с расстановкой. Я все помню и оцениваю целиком, как лучшее... А до этого — время вольное было, не было... Остались далеко Чебоксарское художественное училище, и Елец еще весь в булыжнике, где можно было нанять экипаж с рысаками — куда там! — училище ваяния и зодчества. Маргарита Христиановна ставила руку, улыбалась, сердилась, когда рисунок не получался... И первое увлечение Иваном Буниным. А там уже дорожка ведет к матери — этого трогать не стану...

Савелий впервые взглянул на меня. Я — на него. Мы смотрели на то, что нас окружало: слепящий снег, наша лыжня, чуть дальше за соснами чернела саночная, конная дорога... Ели с шапками снега стояли в молчании, небо было светлым, солнце двигалось по обозримому кругу. Впереди у нас было еще много времени.

Мне хотелось вспомнить вместе с Савелием звенигородское наше прошлое, когда приехала к нам, лесным жителям, Она, Маша. Рассказать ему еще раз о нашем с ней «сидении» в этих краях, в том месте, куда мы держали теперь путь. О том, как все это постепенно начинает уходить, как вначале не замечаешь этого, думаешь: впереди у нас так много! — но и уходя, все-таки остается. В памяти, в сердце. Ведь продолжает жить во мне то невероятное лето с Ней в Литве, когда гремел гром, как в сказке, и море накатывалось на дюны, а мы бросались в воду, зная, что море нас не тронет. И мы без устали купались, а потом, на холодном чердаке, утонув в перинах, рассказывали друг другу о своей прошлой жизни, а устав от воспоминаний, вставали и устраивали пир из ягод, холодного мяса, зелени, пахучего литовского ягодного вина, нашей молодости. Наслаждаясь этим, забывали обо всем. То лето никогда не уходило, оно оставалось, как запах, никогда не забываемый, как свет дня и чернота ночи, как мир, в котором я жил. Вместе с Ней.

Но я не возобновил разговор. И Савелий тоже не проронил ни слова. Нам обоим стало вдруг холодно. Надо было двигаться дальше, и мы принялись по очереди прокладывать путь.

Местность эта была замечательна как своим расположением, так и значением ее в истории края. Северо-западнее озера Чухломского, где некогда стоял монастырь Богоявления. Здесь жил Катенин. «Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый» — так воскликнул Александр Сергеевич Пушкин. Сохранилась в целости усадьба. Я помнил, там помещалась школа, но уже шли разговоры, что ей не бывать — нет средств на капитальный ремонт, учителя не задерживаются, да и детей все меньше... Вспом-

нил и отыскал, что записал в давние времена уроженец здешних мест — Писемский: «У Богоявления, что на горе, с которой видно на тридцать верст кругом, в крещение — храмовый праздник. С раннего еще утра стоят кругом всей ограды лошади в пошевнях. Такой парадной сбруи я в других местах нигде и не видывал. На узде, например, навязано по крайней мере с десяток бубенцов, на шлее медный набор сплошь, весом с полпуда, а дуга по золотому фону расписана розанами...»

«И не случайно, что из этих окрестностей вышли плотники, маляры, каменщики... употребившие свое доморощенное умение и сметку на постройку домов С.-Петербурга. Они первые научили и подали пример и соседним уездам ходить на заработки в столицу, и этот пример увлек обитателей и других губерний. Бойкой скороговоркой, красивым обликом чухломец резко отличается от прочих соседей — галичанина, кологривца. И своим говором свысока, по-московски — в море оканья вдруг правильная русская речь, обстоятельство, требующее внимания».

Это еще один местный почитатель — академик Максимов Сергей Васильевич.

Шли мы не очень ходко, приберегая силы, зная, что времени до темноты еще много, и хотя мы понимали оба, что время это может растягиваться и сужаться как ему заблагорассудится, мы все же никуда не спешили, нам не хотелось спешить. Мы уже были на месте, мы были там, где нам хотелось быть. В тишине, в лесных холмах, в нетронутом снегу, среди воздуха, который, казалось, струился сверху.

Пройти осталось немного, чтобы подняться окончательно, чтобы захватить высоту, чтобы оглядеть все с самой верхней точки, чтобы иметь возможность потом катиться вниз. Мы стали мокрыми, пот собирался на висках, скатывался и попадал в глаза. Одно спасение было — протереться снегом. Какое это было блаженство! Вспоминалась, чудилась баня с прудом, чуть покрытым ледяной пленкой. И все это нам предстояло увидеть впереди. Савелий не роптал, шел ходко, даже с некоторым форсом. Он тоже, наверное, мечтал.

И вдруг мы почувствовали, что поднялись. Разом остановились, посмотрели друг на друга, ожидая под-

тверждения. Сомнений быть не могло — мы стояли на самой шапке высоты, она казалась почти ровной. Выехали из молодых елей на поляну и здесь остановились. Дороги или проторенной лыжни не проглядывалось, а хотелось, чтобы она появилась, особенно теперь, когда следовало отыскать жилище. Правда, мы собирались развести костер на снегу, как только поднимемся, но устраивать его, не зная, куда идти дальше, не найдя следа, было, пожалуй, опрометчиво. Хотя сейчас думалось, что все это не имеет никакого значения. Солнце светило как-то по-особенному ярко, неоглядная даль с седыми лесами видна во все стороны — казалось, мы были хозяевами и властителями всего-всего.

— Может, не станем теперь отыскивать жилище?— сказал Савелий.— Разожжем костер, осмотримся, налюбуемся и станем полегоньку спускаться, держа путь по солнцу. Где-нибудь да наткнемся на дорогу, а не на дорогу, так на тропу или лыжню. А может, и сторожку. Нам же сказали, что жителей здесь не осталось. Хибарка лесопункта... Дорога существует, а нам того и надо... Как ты считаешь?

— Считаю, что пора найти дом. Переменить белье, высушиться...

— Вот чудак! Брось из себя строить провожатого, поводыря, следопыта... Все, что ты сказал, мы преспокойно и восхитительно сможем сделать у костра. Что за дела! И потом, почему нас везде должны встречать с распростертыми руками...

— Хорошо,— сказал я, понимая, что дела несколько меняются, что появляется некоторый намек...— Хорошо, давай отыщем дорогу. А там и костер запалим. Пройдем немного в разные стороны и по кругу— встретимся вон у той сосны. Будет дорога — хорошо, не будет — так и так разведем костер. Но попытаться стоит.

Савелий согласился. Разъехались по разным сторонам. Впервые в нашем странствии на время потеряли друг друга из вида. Было что-то в том зыбкое, трепещущее, тревожное.

И вот мы уже неслись друг к другу изо всех сил. Чуть ли не бросились в объятия. Палками уперлись в лыжи. Ни я, ни Савелий на дорогу не набрели. Солнце, казалось, все еще было в самом зените, свет

благодатно разливался вокруг. Не говоря ни слова, мы стали приготавливать необходимое для костра. И тут еще больше взопрели, пока очищали площадку, пока заготавливали сушняк... Савелий смастерил тычку и палки, оструган, очистил от веток, чтобы можно было развесить наше белье. Костер загорелся не сразу, но трудолюбие взяло верх.

Языки пламени делались все крепче и поднимались все выше и выше. Вот и дымок пошел. Пора переодеться и насладиться трапезой у огня. Переодевание тоже было приятным занятием. Вначале решили растереться снегом и надеть чистое сухое белье. Потом вошли в раж — стали кататься по снегу, кричать на всю округу... Костер горел на славу, солнце припекало. Ну что же, нам везло. Успокоившись и переодевшись, сели к костру, разложили свой провиант — мясо, лук, хлеб. А что еще нужно здоровому мужчине?!

— Помнишь, когда мы только познакомились,— сказал Савелий, уплетая за обе щеки,— мы тогда хорошо познакомились, сразу. Но вдруг я узнаю, что ты уезжаешь на Мариинские каналы — с Николаем. Его выбрал из двух живописцев... Так получилось. Понимаешь, каково мне было. Я оказался обойденным. Вы ведь туда ехали не просто так, путешествие, то да се, картинки, слова... В настоящую командировку от газеты. Так мне обидно стало! Ну, думаю, приедете, возьму я вас в оборот! А вы оттуда телеграмму — вышли денег. Что оставалось делать — выслал. И как будто сразу успокоился. Подумал: поехали, значит, так тому и быть, пусть налюбуются...

— А ты ведь и до сих пор...— осторожно начал я.

— Не то что до сих пор... Есть у Николая такое качество — безалаберность, наплюйство — печать счастливчика. И все ему не то что легко дается, но сладко, в удовольствие...

— Рассказывал он тебе? Этим летом дом купил. За водоразделом здешних рек, можно сказать — соседи. Или ты с ним давно не виделся? — пытался я поправить сказанное, но было поздно.

— Да что ты пристал с ним?.. Не знаю, догадывался. Некоторые намекали. И опять же, нашел он местность по твоему совету, по твоим приметам, конечно, на Ветлуге... А меня опять обошел — живи,

мол, на своей станции, на железных дорогах... С Николаем у нас в последнее время не ладится, нет, хотя когда-то, ты знаешь, мы жили душа в душу, рука об руку... Не получилось. Конкуренты. Живописцы. Да он-то московский, привычный, наследственный. А я— пришелец, чужак на площади, елецкий мужичок...

— Однако ты зубаст! С Фаворским чаи распивал, а Николая обвиняешь в наследственности!

— Я не обвиняю. И Фаворский — не пример. Я говорю то, что есть на самом деле. И сам Николай — он не виноват! Просто люди к нему тянутся, и как-то так получается, что один и не живет. Вот и завидно. Я-то один живу, может, и люблю один жить, а все же хочется, чтобы иногда вдруг вокруг тебя все закипело: родственники, домочадцы, приживалки, невесткины приятельницы, гости... Люблю гостей принимать! Помнишь, в Звенигороде! Под Новый год в звенигородских соснах? Как только подумаешь об этом, с сожалением всколыхнется в душе угасшее, прошлое. Леса стоят приветливые, осыпаны белым, кисейные дальние просторы запорошены снегом... Еле-еле видно, как вьется тропинка среди осенью вымытого леса. И все сковано морозом. А гости едут. Гости, гости! Много их появляется — по паре, в одиночку и гурьбой. Хозяин ждет, хозяйка нетерпелива. В огнях разного цвета не елка — ель на дворе. Такая нарядная, что смотреть больно от слез. А на цепи не зверь — собака Рекс, носится по проволоке через весь двор. Тропинка в ворота упирается. Слышны и восторженные объятия, и приветствия, и шум... Встречают гостей дорогих! Среди гостей шла по тропинке лесной румяная девица, словно пава. Тепло укутали ее там, в Москве. И вот пышет здоровьем и силой — разгорелась от движения, приглянулась она мне. Смешная такая, но теплота в ней внутренняя есть и мягкость жестов... Плавная во всем, не только в походке, и глазами смотрит доверчиво и с любопытством... А потом и тосты, и еда — все обильное... Молодые смотрят друг на друга, выжидая. И приходит наконец кто-то и говорит, что сани готовы и шубы лежат на лавках... В лунном лесу почти светло. И свет этот, как предчувствие перед открытием. Но я прячусь под елью дремучей, не боюсь снега и мохнатых ветвей. Все проскочило мимо, на санях, с хохотом. А она ос-

талась. В самый последний миг. Вглядывается в лес, подходит. Рукава шубы длинные, щеки ее холодные среди меха, а губы алые, жаркие... Глаза щурятся лучистые, улыбка блуждает на лице, в свете луны только еще ярче загорается, светится... А там — люди, крики и смех, собака Рекс заливается лаем... И сани опрокинуты, и кто-то в сугробе, и все так счастливы в эту ночь. А мне и ей кажется, что все это время наше, зимнее, лунное время, особенное, счастливое время наступившего года...

Я не перебивал Савелия, зная уже почти наизусть эту его легенду, мечту. Действительно, там остались лучшие наши годы.

Савелий на какое-то время замолк, а потом сказал:

— Вот так-то, друг любезный Василий! А все обернулось чем? Да пусть бы, ничего — силы и желание есть, работаю хорошо и с увлечением, и, кажется, чего-то стоят мои холсты, и немало. Разлетелись по всему отечеству и далее... Украшают интерьер, кому-то и глазом приятно взглянуть... Не только ведь на выставках и в музеях. Все бы хорошо, и на это бы согласился. Вот куплю велосипед и буду по гостям разъезжать... Да что же случилось с той феей, что с «княжной» произошло, куда девалась та воздушного обличья девушка в меховых нарядах?.. Нету ее. Вот тебе и восторженное изумление, вот тебе и чувство трагичности... А мы с тобой как будто куда-то убегаем, от себя бежим без оглядки...

Пламя костра догорало, но образовавшиеся угли грели хорошо. Нам давно уже пора подниматься, а мы все сидели на лапнике, на рюкзаках... Я ждал, что Савелий скажет еще, ему надо было освободить душу. Но он сидел молча, смотрел на вспыхивающие и темнеющие угли, на огненную дорожку, которой вдруг пробегало снова появившееся пламя. Потом взглянул на меня.

— Ну вот и хорошо,— проговорил.— Нам, кажется, пора и собираться. Найдем не найдем — а усилие надо сделать. Как ты считаешь?

Я кивнул. И стал подниматься. Надо было собираться, и поскорее. Это заметил и Савелий, когда нехотя, разминая руки, принялся снимать с жердей белье. Солнце быстро стало склоняться к горизонту.

Снег потускнел, звуки, шорохи появились в лесу.

— Сделаем усилие, а там можно и в лесу заночевать. Не побоишься?

— Нет. Я с тобой не побоюсь.

Все было готово, мы встали на лыжи, накинули рюкзаки... Все дороги были открыты перед нами! Мы пошли на сосну, где встретились, делая круги в поисках дороги. Идти теперь стало труднее, той накатанной легкости утра уже не было. К тому же не совсем понятно и то, спускаемся мы или снова поднимаемся. Лес здесь был негустой, сосновый, но глубина снежного покрытия давала о себе знать — мы то и дело проваливались в ямы. И вдруг я почувствовал, что скольжу по чему-то слишком гладкому. Я окликнул Савелия, который чуть отошел в сторону. Посмотрел, где он там, а он боком-боком опускался в сугроб и вскоре исчез совсем, издав пронзительный крик. Я кинулся на помощь. Но и меня тоже куда-то тянуло, я проваливался... Успел отстегнуть лыжи, сбросить рюкзак и покатился к провалу, в котором скрылся Савелий. А он уже кричал оттуда, и в крике его не было страха, боли, только удивление. Он восторженно призывал меня, как маленький мальчик, отыскавший клад.

Когда я подполз поближе, увидел: Савелий стоит глубоко внизу, на твердом основании и кричит мне. За слоем снега оказалась почему-то пустота. Савелий махнул рукой, чтобы я остановился.

— Здесь изба или амбар, пока не разобрал... Ты будь осторожней, мне просто повезло. Что-то тут есть, я думаю, и во всяком случае — прекрасное место для ночлега! Как ты скажешь?

Я пропустил его слова мимо... Потому что увидел — избы, занесенные снегом: где торчала труба, где видна была крыша... Жердину колодца заметил наконец.

— Что ты молчишь? — спросил Савелий.

Я еще не был уверен, живет ли кто в этой забытой деревне, но керосиновый запах чувствовал. Может, он исходил из того провала, куда угодил Савелий.

— Смотрю,—ответил я.— Здесь, кажется, целая деревня. Савелий, что мне делать, спускаться к тебе или помочь подняться?

— Я как раз об этом думаю. Пока что боюсь по-

шевелиться — вдруг все рухнет. Кинь фонарь, если сможешь, лучше опусти на веревке... Потому что мой рюкзак сорвался с плеч. И, кажется, одна лыжа сломана. А палки со мной...

Я вернулся к рюкзаку, достал фонарь и снова пополз к провалу. Подполз совсем близко, так что снег стал оседать, но Савелия не было на прежнем месте. Я позвал его, и откуда-то из глубины, как из утробы, раздался голос. Он просил подождать и не двигаться. Прошло какое-то время, я слышал шуршание, звон, чертыхание Савелия, наконец он появился близко от меня, как будто бы поднялся на ступеньку.

— Здесь жили,— сказал он.— Может быть, совсем недавно, еще летом... И как будто поспешно уехали...

— Ты что, археолог? Рюкзак нашел?

— В том-то и дело, что нет. Лыжа цела. И вторая — тоже. Много бумаги, тетрадки... Есть тюфяки, вполне ночевать можно. И стол. И посуды навалом. Кажется, все, что успел заметить, пользуясь спичками. Что делать?

— Держи фонарь, отыскивай рюкзак и выбирайся.

Хотелось самому туда спуститься, любопытство разбирало.

— А мне здесь нравится,— сказал Савелий.

— Ну что ж, по-твоему, ты там будешь ходить, все разглядывать, а я — лежи на снегу?

— В этом что-то есть. Понимаю. Хорошо, давай фонарь. А потом, может быть, и сам спустишься, только ходы исследую.

Я передал ему фонарь, и Савелий исчез снова. Мне оставалось только ждать. Савелий там что-то уже напевал, он освоился вполне. Чтобы чем-то занять себя, я стал наблюдать окружность у впадины и вскоре сообразил, что дом если не совсем без крыши и стропил, то, во всяком случае, большей части их уже нет. Или пытались разобрать... А может, был пожар... Я стал тыкать палкой в снег и наткнулся, как мне показалось, на кровлю. Звякнуло, а потом палка своим острием ушла во что-то мягкое. Цинк, толь, деревянные переборки... Или, может быть, это настил чердака? И тут вдруг снег в одном месте осыпался, и показался конек крыши, венец дома. Страшен и прекрасен был вид его на снегу.

Голос вернул меня к реальности. Савелий говорил,

что нашел лестницу на чердак и сейчас станет подниматься. Я откликнулся, сказал ему, что я на коньке.

— На каком это ты коньке?

— На обычном, что ставят на крышу, когда дом готов.

— Получается, что здесь есть и крыша?

— Наверное, не везде... Прежде чем подниматься, скажи, ты нашел рюкзак? Что там есть еще примечательного?

— Много. Но рюкзака я не нашел. Есть такие-то письма... Фотографии. Много всего. Что мне делать? Подниматься?

Дело было непростое. Поднимаясь по трухлявой старой лестнице, Савелий мог нарушить равновесие всего дома, и тогда не только сам снег, все могло рухнуть.

— Савелий, слышишь меня?! — крикнул я в волнении, потому что первые мгновения удивления, загадки, тайны проходили.— Савелий, ты найди печь и будь около нее. Понимаешь меня?

— Ничего я не понимаю. Мне здесь надоело, хочу на воздух.

— Я буду спускаться к тебе, по крыше, через чердак. А ты стой поближе к печи. Потому что вдруг все обвалится, понимаешь меня?

— Как не понять. Хорошо, Вася. Я буду у печи, а то и в печь залезу, она тут огромная. Но ты будь осторожен. Будь археологом. Будь умницей. Береги не только меня, тут есть много интересного...

— Хорошо,— сказал я.

Но легче сказать, чем сделать. С чего начинать? Не кисточкой же сметать всю крышу в поисках пролома! Я рассчитывал на удачу. Надеялся, что перед коньком должно быть слуховое окно. Вернулся к моей стоянке, взял одну лыжу и снова пополз к коньку. Лыжа оказалась хорошим орудием. В несколько приемов очистил козырек крыши и опустил ее книзу. Лыжа стукнулась о стекло. Я достиг своего, но пока что рано было торжествовать. Надо было пробраться на чердак. А если там нет настила, то придумать что-нибудь еще. О своем открытии я пока не стал говорить Савелию. К тому же я мог и не пролезть в это слуховое окно... Я копошился, как муравей, был тер-

пелив и настойчив. «Как ты там?» — слышал я время от времени голос Савелия и не откликался. Когда разбил стекло и выломал раму, снизу раздался крик Савелия: «Что случилось?» Но и тут я промолчал. И только когда протиснулся в пролом, увидел, что настил на месте, там, где ему надлежало быть. Ликования, однако, не возникло, крикнул Савелию:

— Не двигайся, будь у печки, Савелий!

— Теперь можешь не кричать,— отозвался он, и эхо несколько раз вернулось мне его голосом.— Я тебя и так вижу.

Я опускался ногами вперед и наконец свалился на копну сена, пыльного, ветхого. Спичку бросить — тут все разом всполыхнет. Я приподнялся, протер глаза. Весь сеновал был предо мною в провалах, трещинах, местами запорошенный снегом. Почти сразу увидел рюкзак, а чуть правее от него — провал и лицо Савелия, освещенное фонарем.

— Савелий, я с тобой! В каком месте у тебя лестница? Я нашел рюкзак.

— Это хорошо.— В голосе Савелия не было уверенности.— Не советовал бы тебе спускаться сюда... Здесь, понимаешь ли, как будто затягивает... Как будто что-то давит, и никуда двигаться не хочется...

— Как же это так? Что ты говоришь?! Ну хорошо, я не буду спускаться, хотя мне любопытно... Но ты-то подниматься собираешься?

— А может, здесь заночуем? — сказал он вдруг.

Что-то с ним творилось неладное, надо во что бы то ни стало вытащить его. Но тут же я подумал: почему бы нам не заночевать здесь? И вспомнил о трубах, торчащих из-под снега... Целая деревня, и, может быть, кто-нибудь жил еще рядом...

— Почему не отвечаешь?

— Я говорю тебе, Савелий, что целая деревня под снегом.

— Ты видел?

— Ну конечно. И трубы, и крыши... И кажется, кто-то еще живет...

— А нам-то что до этого? Нас ведь никто не приглашал...

Как поступить в подобном случае? У меня голова шла кругом. Какая-то дьявольщина, да и только. А ведь

там, на вольном просторе, уже начало садиться солнце...

— Послушай-ка, что я тебе прочитаю,— раздался снова голос Савелия.— Ты слышишь меня, тебе там удобно, наверное, на сене?

— Удобно.

— Ну вот, сиди и слушай. «Добрый день, мама! С приветом твоя дочь Надежда. Мама, решила написать тебе письмо, хотя от тебя и не получила ответа. Я просила тебя выслать мне платье, которое шила Любка, но если не выслала, не надо высылать, уже поздно. Вчера была у нас лабораторная практика, я сдала на пять, конечно, очень боялась. Сейчас пришла с занятий и пишу. Вчера ходила в театр. Скоро, надеюсь, буду дома, заеду за Тонькой в Солигалич, и приедем вместе. Ну ладно, пока, на этом заканчиваю писать...»

— А вот еще письмо,— сделал ремарку Савелий,— если не устал, послушай: «Добрый день, мама! С приветом твоя дочь Надежда. Мама, решила написать тебе еще одно письмо, хотя от тебя ни одного не получила. Я тебе шлю письмо за письмом, а ты мне не отвечаешь. Попросила бы дядю Митю, написал бы как-нибудь. За столько-то времени ни одного письма... А если я вообще останусь здесь, в Костроме, тоже не будешь писать? Ну ладно, что поделаешь. Жду каждый день, но не получаю от вас ни привета, ни ответа. Тоньке тоже написала, но ответа тоже нет. Чужие шлют письма, а свои никто, точно и родных никого нет, до чего обидно за вас. Ну ладно. Не знаю только, приезжать ли к вам. Вы, верно, мной не нуждаетесь. Сейчас вечер, уроки выучила, время свободное, решила написать письмо. С этого письма больше писать не буду. Вот вроде и все. А сейчас ложусь спать. Приеду домой, как только получу диплом, и сразу же буду уходить, поеду устраиваться. Пока, до свиданья, Надежда».

Была долгая пауза, потом Савелий сказал:

— Слышал все? Что скажешь?

— Печальная история, вот что я скажу.

— Не только печальная... Почему письма оставили, не взяли с собой?

— И ты хочешь оставаться в этом доме?! — я уже думал, какие мне силы применить, чтобы вытащить

оттуда Савелия.— Пошли скорее, лестница твоя хорошо укреплена, я вижу, поднимайся!

—Я не хочу,— сказал низким голосом Савелий.— Здесь какая-то жизнь... мне хочется понять...

Я подошел к лестнице, уже не боясь за себя, что провалюсь, застряну, поломаю себе ноги...

— Савелий, я прошу тебя, поднимись. Мы отыщем сейчас дом, где живут люди. А потом ты можешь прийти сюда и еще раз посмотреть...

Савелий вздохнул и стал медленно подниматься по лестнице. Таким я еще не видел его, что-то с ним случилось. Он перебросил мне лыжи, потом перевалился сам. С большим трудом мы выпихнули рюкзак из слухового окна и вылезли сами.

Солнце уже было на излете, синевой окуталось все кругом. Мы пробрались, огибая впадину, к тому месту, откуда началось злополучное скольжение. Что было делать дальше, как идти, чтобы снова не угодить в провал, в западню? Савелий смотрел на меня вопрошающе, и это не нравилось мне. Я пошел первым, стараясь держаться ориентира на улицу, на что указывали редкие трубы — вехи пути. И тут действительно, как по волшебству, мы скатились на улицу, где снег отгребали от окон, как бы в траншею попали. Но из нее был выход: вдалеке виднелся след трактора, и желтизна, и накатанность дороги. Но почему-то и здесь, по крайней мере сейчас, стояли тишина и безмолвие. Я все оглядывался. Савелий шел, опустив голову, казалось, безразличный ко всему. Здесь, в этом расчищенном пространстве, стояло всего домов пять или шесть, дальше виднелись вагончики лесорубов, бульдозер. Мы дошли до этих вагончиков. Все они оказались на замке, никого кругом не видно.

— Что же делать? — спросил как-то безучастно Савелий.

— Искать дом, в котором живут,— отрезал я.— Что здесь недавно были люди, ты видишь. Они расчистили дорогу, захватили и кусок деревни. Явно, что в деревне кто-то живет. Пошли обратно, станем стучать.

Первый дом пустовал. Это видно даже по окнам, и хотя они не были забиты досками, там была пустота. Второй дом имел вид жилого, но никто нам не откликнулся, не открыл. К третьему мы подошли уже с

некоторой опаской, росло какое-то тревожное состояние. Но только что мы приблизились к крыльцу, как в окне, сквозь кусты герани, увидели лицо. Как будто одни глаза были на нем, или это только так показалось... Я помахал рукой. Подошел чуть поближе и снова сделал знак, чтобы нас впустили.

Дом был как дом, сени как сени, старушка опрятная, казалось бы приветливая, с голосом звонким. Она все повторяла:

— А мы все смотрим, кто это да кто это... А это вы, сбились, наверно, с похода.

С какого «похода», я понять сейчас не мог, да и не хотел, не то меня занимало. Необходимо напоить чем-нибудь горячим Савелия, попытаться привести его в чувство.

Как только мы вошли в дом, сразу невероятные запахи и звуки обрушились на нас. Савелий тут же присел с краю на лавку и откинул голову к стене.

— Заблудились, родимые,— говорила старуха, скользя плавно по избе, что-то отыскивая.

Ничего примечательного в избе не было, если не считать запахов травы, цветов и звуков. Звуков летнего поля и еще — человека, сидящего на кровати у окна. Это был мужчина неопределенного возраста— худой, с серого цвета волосами, старательно зачесанными назад. Руки его безвольно лежали на коленях. Одет он был в защитного цвета рубашку и бриджи. Карие глаза смотрели на нас выжидающе, уже не так неподвижно, как через окно, но была в них явная отчужденность.

Старушка молча ставила на стол съестные свои припасы, что-то и горячее вытащила из печи. Молчал и мужчина. Савелий сидел, все так же откинув голову, и как будто не замечал немой сцены. Я стоял рядом, сесть казалось неудобным, надо было знакомиться... А нескончаемый гул летних дубрав, перелесков, лощин не смолкал. Электричества, я заметил, здесь не было. Да и откуда ему быть! Значит, вся эта звуковая система работала у него от батарей, и он этим гордился... Да ничего он не гордился, он просто жил этим, был таким...

— Давайте беседовать,— сказал мужчина. Голос

его был глухой, низкий, но речь указывала на то, что говорит он часто и помногу.— Давайте выберем тему и начнем нашу беседу. Какие темы вы предпочитаете?

Я готов был провалиться сквозь землю. Вот как судьба распорядилась! Савелий будто не обращал ни на что внимания, хотя, конечно, все слышал. Молчать было глупо и бессмысленно, тем более и старушка смотрела выжидательно.

— Ну можно было поговорить на тему, например, весны или лета...— сказал я, отыскивая слова.

— Или, например, на тему, где я жил и для чего...— вставил Савелий, вдруг выпрямившись на мгновение, и снова откинул голову.

— Это мой друг,— сказал я.— Мы странствуем, заблудились. Держим путь на Чухлому.

— Или Мифодьев,— подсказал Савелий, больше не поднимая головы.— Или туда и сюда сразу. Мы не заблудились, нет, мы провалились,— и Савелий рассмеялся.

Мужчина был невозмутим, а старушка все скользила от печи к столу и обратно, поглядывая на нас с эдакой улыбкой.

— Если вам мешают звуки для беседы, можно выключить,— сказал мужчина.— Батареи садятся, а кто их нам привезет! Таких, наверное, уже и не делают...

Звук смолк, прекратился. Стало как-то очень легко. Просто чудесно стало.

— Вот о звуках можно и поговорить, побеседовать,— предложил Савелий.— Чем не тема!

— Тема обширная,— чуть помедлив, ответил мужчина.— Пока мы только читаем, мы рискуем позабыть язык, на котором говорим, поем, или кричим, или стонем, или вздыхаем...

— Совершенно верно,— сказал Савелий, очнувшись,— и с таким же успехом мы можем поговорить о лете, где возникнут те же соображения, или об одиночестве... Благодатная тема для беседы!

— Если вы говорите всерьез,— сказал мужчина,— то в одиночестве звуки приобретают особое значение.

— Тут я с вами совершенно согласен,— закивал Савелий.— И скажу, что у вас удивительно развито воображение и даже чувство юмора. Вижу в этом благотворное влияние природы. И пытливого ума.

— Да что вы!— откликнулась старуха звонким

голосом.— Лесорубы нас просто замучили! Все у них план да план, ну и, конечно, выпивают... Вот вам и одиночество, тишина. Так и лезут к нам гостить. А мы ведь уставшие в колхозе, нам отдохнуть надо. Да и сын мой нездоров... Прошу, уж все готово, и нам пора ужинать.

— А какие же мы? — спросил Савелий. И выпрямился, расправил грудь.

— Вы с похода сбились. То есть, говоря по-вашему, заблудились. А странствуете далеко...

— Мама,— прервал ее мужчина, вставая с кровати.— Ты отвлекла нас очень некстати. Мы только начали беседу, могла бы и помолчать.

— Так и будет, сынок, так и будет...

«Куда мы попали! — думал я с испугом. У меня голова шла кругом.— Куда привел Савелия! И что это за странные люди?» А он как ни в чем не бывало улыбался, приободрился... Может, это и надобно ему?..

— Мы тоже, в некотором роде, решили предаться одиночеству,— начал я.— Хотя, как видите, и поехали вдвоем. Так что это одиночество — вдвоем...

Савелий хмыкнул.

— ...но я продолжаю: мы часто бываем более одиноки среди людей...

— Пора и переменить вам беседу,— сказала пожилая женщина, улыбаясь мне.

— Ты во второй раз прервала наш разговор, мама,— сказал мужчина. Он стоял теперь, прислонившись спиной к печи.

— А каким образом вы заслужили себе такое отменное одиночество? — спросил Савелий, вставая и разминая пальцы рук.

— Об этом я расскажу, когда мы откушаем,— ответил мужчина.— Или, если хотите, за ужином.

Нам ничего не оставалось делать, как сесть за стол, хотя у меня было такое чувство, что смотаться бы нам отсюда поскорее...

Мужчина сидел во главе стола, напротив него должна была сесть хозяйка. Мы тоже решили сесть друг против друга. Но мать этого стареющего мужчины попросила нас не садиться на лавку у окна.

— Это местечко Лизоньки, она любит тут присесть, а то и прилечь.

Я взглянул на хозяина, он даже бровью не повел.

— Так у вас вот как! — сказал, тяжело садясь, Савелий.— Кстати, давайте представимся. Меня зовут Савелий Петрович. А моего друга — Василий Иванович.

Мы встали. Встали и они.

— Позвольте представить мою мать — Степанида Гавриловна. Я же — Петр Тарасович.

Мы сели, но пауза продолжалась. Как будто мы кого-то ждали, что-то должно было случиться. Савелий, казалось, подогревал атмосферу, он, может быть, суетился не в меру... Предложил Петру Тарасовичу сказать речь, чем несказанно удивил меня. Что, собственно говоря, нам сделали люди, к которым мы пришли и теперь сидели за их столом? Может быть, они были странными, но кто из нас не странен, кто не хочет выглядеть непохожим на другого, и самое главное — каждый ведь отличает себя от другого, каждый человек — это целый мир... Мы тоже, наверное, казались хозяевам странными субъектами.

Между тем Петр Тарасович встал, вышел из-за стола, достал из шкафчика красного дерева связку каких-то бумаг. Так же аккуратно закрыл дверцу, спрятал ключ и вернулся к нам. Отделив одну из бумаг, Петр Тарасович одернул рубашку, приосанился и начал говорить:

— Хочу прочесть одно письмо. Оно и будет ответом на ваш косвенный запрос, Савелий Петрович. Это письмо моего отца к своей возлюбленной. Время написания — двадцать шестого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года, тут указано. «Пишу вам уже с места прибытия. Вчера поздним вечером приехали, и при высадке слышались издалека раскаты орудийной канонады. Сегодня поехали верхом со старшим ординатором осматривать наше будущее расположение. Неизвестно, где нас разместят. До слуха все время доносится грохот орудий. Кругом разоренный край. Недалеко от нас находится храм с рухнувшей колокольней. Неподалеку окопы, проволочные заграждения — на всем следы бывшего присутствия врага, боев и адского кровопролития. Картина удручающая. Здесь были страдания, слезы, стоны. Словом, попали в такое место, где рождается множество новых мыслей. И хоть издали пока слышится «гром», но настро-

ение удручающее. Сидим в теплом месте, пьем чай, разговариваем.. Что будет дальше, неизвестно. Ждем распоряжений из штаба. Никогда еще не приходилось писать в такой обстановке — кругом, за общим столом, сидят, говорят... Забываешь, что сейчас праздник, что там у вас люди живут по-иному, ходят в театр... А мы, врачи... Вот уже десять дней, как я не получаю ни от кого, ниоткуда писем. Досадно и жалко. Помни, деточка, обо мне и молись. А пока до свиданья. Целую крепко, крепко...»

Петр Тарасович остановился, но не сел, снова стал говорить:

— Вот как это было. Что-то отчаянное в письме, а за всем этим невероятный, незнакомый мир, который еще не осознавали, не понимали, не знали, как думать и писать о нем, рассказывать. Ведь в письме он пишет и об одиночестве... И я, уже старый ветеринар, до каких седин не дожил мой отец, хочу вместе с вами вспомнить о нем.

Дальше опять пауза, настроение в доме явно переменилось. Молчание нарушил Савелий:

— Но если вы так говорите... то вы, Петр Тарасович, были не только ветеринаром... Я вижу, ваша будничная одежда — армейская форма...

— Я прошел войну разведчиком. Что мне сейчас таиться! — нездоровый блеск появился у него в глазах.

В это время Степанида Гавриловна встала из-за стола и принесла ему каких-то капель.

— Я вам должна сказать, молодые люди,— обратилась она к нам,— что все это так и было. Да и теперь в колхозе он всякие стратегические изобретения придумывает...

— Мама, опять ты лишнее. Если они поверят, то поверят и так... А эти оправдания...

— Какой нам смысл не верить или сомневаться в том, что вы сказали,— выступил я.— Мы случайные попутчики в вашей жизни... И не нам нарушать ваше спокойствие...

Я боялся, что сейчас он начнет рассказывать, путаясь, об армиях, фронтах, перемещениях... О той войне, которой я был полон до боли (которая стучалась ко мне по ночам): читая воспоминания, мучаясь своим прошлым, думая о голодном, холодном детстве

в Сталинграде, в Сибири, в эвакуации, далеко от родных мест. Я взглянул на Савелия, тот, кажется, дремал. Самое время было попросить ночлега и уйти куда-нибудь в каморку, в чулан и не вспоминать и не любопытствовать о зиме и лете, о занесенных и заброшенных домах, о трактористах, о лесных жителях, о том, почему живет здесь ветеринар Петр Тарасович, кто такая Лизонька...

Но в это самое время как раз Лизонька-то и появилась перед нашими глазами. Стук — и вот она в избе. На удивление всем. Потому что, вероятно, Петр Тарасович скрывал ее от постороннего глаза. И тут я подумал: почему она живет отдельно? То-то он смотрел за нами через окно, чтобы мы ненароком не попали к ней в дом... Масса вопросов появилась у меня. Да и Савелий тоже как будто встрепенулся, глаза у него открылись, и видно было, что он сразу забыл все, что было с нами,— и шутки странные, а до этого — еще более странное копание в засыпанном снегом доме. Что же такое случилось?

Удивительной стати женщина появилась перед нами. И даже если бы теперь она больше не двигалась и ничего не говорила, то и этого было бы достаточно, чтобы мы пребывали в полном восторге. Она и действительно застыла на какое-то мгновение. Перед глазами Петра Тарасовича. Видимо, не велено ей было появляться здесь в присутствии гостей, без особого на то распоряжения. Растерянность, конечно, была полная. Первой пришла в себя Степанида Гавриловна и первой встретила красавицу. Она бросилась к Лизоньке со словами: «Вот и наша несравненная Елизавета Павловна!» — а сама в это время уже что-то шептала ей на ухо.

— Ах, вы что-то скрываете от нас! — воскликнул, не удержавшись, Савелий.

Петр Тарасович так на него посмотрел, что нельзя было понять, то ли он сердится, то ли ему по душе такое восклицание. Было, наверно, и то, и это.

Ну а что же Лизонька, Елизавета Павловна?! Она была грациозна, торжественна. Нарядов особенных на ней не было — обычное, казалось, платье, вязаный кружевной платок на шее, меховую куртку она сбросила с себя у входа... Волосы стянуты пучком, приподняты так, что вся шея от плеч открыта. И при

всей своей грациозности и трепетности — что присутствовало в походке, в наклоне головы, в торжественной стати — ее тело напоминало век Рубенса, в русской, конечно, интерпретации, может быть, венециановской. И украшением всего были даже не глаза, отменно хорошие своим васильковым отливом, они казались влажными и прозрачными, но с легкой дымкой; и не брови, властные и густые, с изломом, оттеняющие и белизну кожи, и светлые каштановые волосы; и не уши с бирюзовыми сережками,— лучшим украшением всего казались губы. Они все время находились в движении, припухлые, яркие; верхняя была очерчена так четко, как будто резчик не пожалел силы и совершил неповторимую линию, изгиб. Когда они открывались, показывая перламутровые крупные зубы, чтобы произнести какой-нибудь звук,— это было уже слишком, тут действительно надо было держать такую за семью замками, гнать в шею бульдозеристов, спускать под откос тракторы, смотреть подозрительным взглядом на заблудившихся путников...

Вот какова была эта женщина. И нам, конечно, пора, теперь уже точно наступила пора выбираться поскорее отсюда. Я взглянул на Савелия: он понял мой взгляд, мои мысли. И в это время раздался глухой голос Петра Тарасовича:

— Эй вы, путники! Что молчунами сидите?

— Да мы боимся тебя, Петр Тарасович! — сказал так же полушутя-полусерьезно Савелий.— Шутка ли... такую красавицу показал нам!

Лизонька кивнула, поклонилась Петру Тарасовичу и как будто бы засобиралась уходить вместе со Степанидой Гавриловной.

— Куда? — спросил Петр Тарасович, опережая их уход.

— Да мы тут, сынок, по делам нашим, хозяйственным,— сказала мать робким и ласковым голосом; совершенно другой у нее был теперь тон.

— Я думаю, дела ваши подождут, если гости составят нам компанию...

— А в чем состоит компания, Петр Тарасович?— спросил я.

Он понял и мой намек, и наше состояние. Савелий смотрел: чем же все это кончится? или все только начинается?..

— Будете с нами в лото играть? — сказал Петр Тарасович и на мгновение засмеялся, широко, привольно; зубы у него были здоровые, крепкие.

Женщины тоже улыбнулись, робко.

В это время засмеялся Савелий, не на мгновение, а так, что сам себя остановить не мог. А может, и не хотел.

— Нервы, пройдет,— усмехнулся Петр Тарасович.— В таком-то походе всегда все проходит...

— Вот именно,— наконец-то выговорил Савелий.— И каких только необычайностей не случается... Я вспомнил, как в детстве в лото играл с моей бабушкой, и в это время, в это мгновение объявили, что началась война. То есть она зримо для меня началась, вдруг, потому что стали падать бомбы...

— И почему же вы рассмеялись? — сказал уже серьезно Петр Тарасович, как бы требуя полного ответа.— Тут имеется грех...

— Простите меня, нервное это. Как вспомнил... Страшно.

Я знал об этой страшной беде, и как потом, в тот же день, отца Савелия не стало, бомбой его...

Петр Тарасович, казалось, растерялся.

— Ну и что? Что же дальше? — проговорил наконец.

— А дальше ничего,— спокойно улыбнулся Савелий.— Все остальное при мне. Я, например, согласен играть в лото. Если вы не переменили решения. Не знаю, как Василий.

— Что вы скажете, Василий Иванович? — у хозяина чуть дрогнуло что-то в глазах.

Женщины с любопытством ждали моего ответа.

— Лото люблю. И сыграл бы, но если не очень большие ставки.

— Об этом не беспокойтесь,— Петр Тарасович сразу приободрился.— По копейке. Значит, дело решенное. Женщины, готовьте стол.

Женщины уже накрывали по-новому стол, так что и закуска оставалась, но было место для карт и для фишек. Поставили самовар. Женщины сели. Продвинулась уверенно на свое место у окна Елизавета Павловна. И мешочек с фишками, и карты были с нею, так что она стала банкометом.

Мы с Савелием ждали, что будет дальше. Елиза-

вета Павловна стала раздавать карты, кому сколько хотелось, и брала за каждую по копейке на кон. Все взяли по три карты. И пошла игра. Шуршание мешочка, выкрики и передача фишек. Когда Елизавета Павловна выкрикивала номер, голос ее звенел, пел, а глаза горели.

Была же какая-то причина этой игры, думал я, и никак не мог додуматься,— облик Елизаветы Павловны заслонял от меня вопросы и размышления. Мы с Савелием больше, кажется, поглядывали на эту женщину, чем играли. А они забаве отдавались целиком. Видимо, частенько засиживались за фишками. Меня мучил вопрос: они всегда играют втроем? И в это время автомобильные фары осветили комнату. Гул грузовика смолк, а фары остались светить прямо в окно.

«Чего-то вроде этого я все время ожидал»,— сказал мне потом Савелий.

Особенного беспокойства, волнения или неожиданности не появилось на лицах жителей заброшенной, занесенной снегом деревни. Даже Елизавета Павловна прокричала еще один ход... После чего Петр Тарасович встал, а женщины продолжали сидеть. Мы ждали, что он и нам скажет: «Сидите, сидите...» Но он промолчал, и нам пришлось встать. Петру Тарасовичу будто это и нужно было. Он улыбнулся:

— Ну что, ребятушки, подмогите мне. Одну вещичку тут привезли... Кстати, и вам попутный транспорт. Чтобы «поход» не задерживался. А то еще скажете, что задерживаем, как с той демьяновой ухой. Нет, у нас правило такое: погостили, надо и честь знать. Не обидел ли чем? Нет как будто. На машине-то с ветерком, вмиг домчите до Чухломы, Мифодьева... Собирайте ваш скарб, прощайтесь, да и в поход.

Мы были несколько озадачены таким поворотом вечера, да и не вечер, почти ночь наступила. Но с другой стороны, рады были и уйти из этого дома. Уж потом мы сознались друг другу в этом. А в тот миг слова не могли вымолвить. Кивнули женщинам, собрали свои рюкзаки, лыжи с палками и вышли из дома. У ворот стоял грузовик с крытым кузовом. Водитель сидел в кабине, не выходил. Петр Тарасович, опередив нас, подошел к кабине, о чем-то негромко

поговорил с шофером. Пока мы подходили, Петр Тарасович успел уже обойти машину, открыть дверцы. Он вспрыгнул в кузов, откинул лесенку и уже тащил, слышно было, что-то тяжелое.

— Ну, подхватывайте! — раздался его глухой голос.

И на нас свалился здоровенный металлический ящик, так что мы его еле успели подхватить, потому что и не ожидали такого — ящик был тяжеловат. Хозяин вместе с нами потащил груз в уже отворенные ворота. И когда только он успел их открыть!

— Ставьте,— сказал он, когда мы пронесли ящик за ворота. Когда мы вышли, я видел, как Петр Тарасович накрепко их закрыл.

— Ну что же, спасибо, что навестили, спасибо за подмогу, а теперь в поход. С водителем я уже переговорил, довезет вас, куда вам нужно. Прощайте,— подвел черту Петр Тарасович и, не подав руки, не оборачиваясь более к нам, пошел к дому...

Кругом была такая темнота, что и не передать. Ни звезд, ни ветра, никаких звуков. Водитель окликнул нас; вероятно, долго мы так стояли. Мы подошли. Мужчина открыл дверцу, оглядел нас вблизи. Сам он был в валенках, теплых штанах и в ватнике — большой, можно сказать, огромный, и лицо широкое, заплывшее.

— Велено вас доставить по назначению,— проговорил он басом.— Петр Тарасович говорил, в Чухлому?

— Вези нас в Нероново,— сказал я, понимая, что он может и не знать такого места.

— В Нероново так в Нероново,— ничуть не удивился этот странный дядя.— Ко мне будете садиться или в кузов? Там овчины есть...— И он выжидательно посмотрел на нас.

— Мы в кузов,— отозвался Савелий.

— Тогда мне стукнете, когда ехать, когда остановить.

И дверца закрылась.

Мы забрались в кузов и обнаружили целое богатство: овчинный полог и войлок, на котором, видимо, не раз спали. На скорую руку мы приготовили постель, положили в головы рюкзаки и стукнули води-

телю, чтобы ехал. Он не стал долго ждать, тут же сорвался с места.

Среди ночи нас растормошил водитель грузовика. Я не предполагал прибыть так скоро, рассчитывал, что это случится утром. Поэтому с трудом просыпался, слышал, как водитель тормошит отбивающегося Савелия:

— Куда надо? Куда вам надо-то, на мою голову... Или сами не знаете? Так, сдуру, а то и со страху ляпнули... Ведь ночь глухая... Черти!

— Вот именно,— отозвался Савелий, пока я раздумывал, что делать.— И вам-то самому тоже спать надо...

— С вами поспишь...— сказал уже более мягко здоровенный детина.

— А что же, вполне! — Савелий привстал вдруг.— Мы сейчас перекусим, все вместе, то да се... и уляжемся спать до утра. А там-то уж все решим, обсудим. Как вы на это смотрите? Простите, звать как вас, не успел запомнить... Мы так: Савелий — я, Василий — он.

— Николай. Ну что же, в этом, может, и смысл...

— Я вам точно говорю! — сказал Савелий.

Николай хмыкнул:

— Будь по-вашему. Сейчас только машину поставлю, чтобы никому не мешала да чтобы и нам не беспокоиться...

Савелий нарезал хлеба с салом. Было неплохо. То же сказал и подошедший Николай. Уже за едой спросил:

— Как вас угораздило попасть к такому странному хозяину?

Но продолжать не стал. А на вопрос — чем же это он странный, этот хозяин,— только махнул рукой и закрылся пологом. Через несколько мгновений он уже посапывал. Мы тоже последовали его примеру и проспали без всяких происшествий до рассвета.

Проснулся я на заре, еще солнце не всходило, открыл дверцу и опустился на землю. Не сразу сообразил, в каком месте мы находимся. Бывал здесь во все времена года, а вот теперь местность никак не мог распознать после тяжелого сна. И вдруг увидел, что

стою под вишней, где спал в жаркие дни лета, в саду у Марьи. Где столько времени провел с Машей. Вот куда мы заехали среди ночи! Туда, куда стремились все время. Я прошел садом к дому Марьиному; нигде не было видно ни следов, ни каких-либо признаков ее неукротимой деятельности. Передо мной открылась колокольня придорожной церкви, где были складские помещения и столовая, где любили останавливаться водители леспромхозовских грузовиков. Виден был отсюда и дом Марьиного сына, который работал инженером в Федюкинском леспромхозе. Они отстраивались еще при мне, в мой первый приезд в эти края. Тогда я здесь собирался обосноваться надолго, может быть, на всю жизнь, но все устроилось по-другому.

Я подошел к дому Марьи с каким-то тревожным предчувствием. Подошел к оконцу, у которого мы всегда сидели, пили чай... Окно было холодное, пустое, без налета льда, как будто там нежилое помещение. Я обогнул дом и вышел к двери. Она была заперта на большой висячий замок. Вполне возможно, что старуха на зиму переехала к сыну, чтобы не топить лишнюю печь, побыть с внучатами. Так успокаивал я себя, а сам-то помнил, как она жила и зимой в этом старом доме. Потоптался у двери, пытаясь согреться, а вернее, успокоиться от охватившего меня озноба, и направился к большому дому. Там, вероятно, уже проснулись.

Действительно, когда я прошел к лицевой стороне, то увидел в окнах свет. Такой он теперь был для меня далекий — наши жизни разошлись на долгие годы, и здесь все было, конечно, не по-прежнему...

Я стал подниматься в дом, и в это время дверь отворилась. На пороге стояла девушка. Она вдруг напомнила мне сон: падали на землю резеда, жасмин и те маленькие цветы — красные, желтые, голубые... Солнце поднималось в чистоте зимнего утра. Конечно, я помнил Машу, возлюбленную мою, как утром шли они вместе с Настеной купаться, а я уже сидел в сарайчике и работал... Беленькая девочка с васильковыми глазами — Настена, озорница и певунья...

Так мы стояли друг перед другом некоторое время, а потом она бросилась ко мне на грудь — смеялась и плакала...

Мы вошли в дом, семья завтракала. Но Марьи не было среди них. Настена торопилась, ей надо было в интернат, где она работала воспитателем. Просила непременно дождаться ее. И убежала. Ее отец — Борис — тоже собирался уходить, только Вера, мать ее, с малыми детишками никуда не спешила.

— Ты побудь здесь,— говорил Борис, как-то подмаргивая суетливо,— а я днем вернусь, мы и потолкуем, побеседуем... Вспомянем старое да прошлое... Так я скоро, дождись непременно... Вера тебе тут все расскажет. Побежал...

Но в дверях путь ему преградил Николай, шофер наш. Кудлатый, заспанный, он тут же обхватил Бориса и чуть ли не поднял его.

— Да пусти ты, медведь, пусти, разбойник! Ищу тебя, понимаешь, везде, а ты как сквозь землю провалился. Разве так делают?!

— Виноват,— сказал Николай, отпуская Бориса,— в такую историю попал, еле выпутался...

— Да вы знакомы!

— Только они сказали — в Нероново, я подумал: и мне тоже... А в кузове еще один спит — Савелий.

Борис обернулся ко мне — на лице его были и улыбка, и удивление. Я кивнул — все так и есть.

— Ну вот что,— сказал Борис,— вы уж действительно никуда не девайтесь. А ты у меня смотри, Николай! Все узнаю. Будьте здесь, я мигом и вернусь... Это я из-за тебя в такую-то рань собрался,— кинул он напоследок Николаю и скрылся за дверью.

Слышно было, как завелся «газик», и звук мотора скоро стал пропадать.

Вера принялась за хозяйство. Она была женщина молчаливая, но не робкая.

Мы с Николаем сидели, отогревались в тепле, наблюдали за ее работой. И молчали. Николай, видимо, не совсем понимал, как это я оказался в этом доме своим.

Я же все ждал, когда заговорит Вера и как она скажет о Марье. Но не дождался, пошел будить Савелия, хотя и спалось, я думаю, ему там славно. Еще в Звенигороде он любил спать в нетопленной избе, с открытой форткой, под тулупом. Действительно, я не сразу его разбудил, долго он не просыпался. Наконец стал подниматься, приглаживая свою бороду, раздви-

гая по сторонам усы, а потом двумя руками забравшись в волосы и потянувшись, сказал, что он готов на все, но надеется, что вчерашнее не повторится.

Вера в тишине и в молчании напоила нас чаем. Делала это чинно, с достоинством, но во всем поведении ее чувствовалась недоговоренность, скованность...

Савелий все взглядывал на меня удивленными глазами, как бы спрашивая: может быть, он что-либо не так делает?.. Я кивал ему успокаивающе, но через несколько мгновений он снова обращался ко мне с немым вопросом. Это заметила и поняла Вера. Николая тоже тяготила обстановка, и он сказал неуверенно, что пойдет проверит машину. Извинившись, поблагодарив за угощение, поднялся из-за стола Савелий и вышел вслед за Николаем. Мы с Верой остались одни. Она стояла у окна, откуда была видна избушка Марьи. Мы когда-то так и переглядывались с ней и с Настеной, звали друг друга в гости. Я стал удобнее, чтобы и мне была видна избушка.

Вера плакала, тихо, робко, совсем неслышно, только слеза текла по щеке. Я дотронулся до ее плеча.

— Не знаю, как и рассказать тебе, Василий... Тяжело все, худо...

— Что с Марьей? Жива?! — воскликнул я, не смог удержаться.

Вера поняла мое волнение, обернулась, продолжала тихо, как и начала:

— Жива... только и жива-то неизвестно чем, то есть в чем жизнь держится — вся белая, маленькая, словно девочка... Не понимает почти ничего и не узнает никого... Я думаю, и сама мучается. Не надо было отвозить туда. Да Борис вот придумал... чтобы ее лечили... Я молчу. И он молчит. И Марья молчит. Только у одной Настены получается и разговор, и «глядение». По глазам-то многое можно понять. Они с Настеной в одну и породу, одна к одной... Как ты помнишь... Не знаю, Вася, тяжко мне вот так — вроде и нету ее, а вроде и есть...— И тут Вера заплакала в голос, навзрыд, уже не в силах сдерживаться. Но длилось это мгновение. Скоро снова обернула ко мне заплаканное лицо с добрыми глазами, в которых была грусть.— Что же нам делать, Василий?..

— Где же она сейчас? В больнице?

— Да. Ходим к ней каждый день. Но разве это дело... перед людьми стыдно. Виданное ли это дело? Ты поговори с Борисом. Он и сам стал на себя непохожий. Какой-то чудной... Совсем вдруг бывает как будто дурашливый... Ты осторожно с ним, не сразу. Да ты знаешь... Он скоро вернется; он как тебя увидел, да еще вы вместе с Настеной вошли, так он даже оробел, не знал куда деться... Будто ты-то как раз и нужен бы ему... Мы часто о тебе говорили, жалеем, что переписка оборвалась... Забыл ты нас, Василий...

— Я прямо сейчас к Марье пойду.

— Сходи,— сказала как-то беззвучно Вера.— Не узнает она тебя. Тяжело тебе станет. Но, конечно, сходи. Надо... Возвращайся только поскорей, никуда больше не заходи. Я ждать буду, и Борис придет. Думаю, и Настенка не удержится, раньше времени прибежит. Ты только к ней не заходи, сразу домой возвращайся...

Уже на тропе, отойдя довольно далеко от дома, вспомнил, что ничего не взял с собой. Но возвращаться не стал. Вышел на дорогу к монастырю, где размещался детский интернат. Там теперь была Настена. Поднялся на холм, где росла одинокая сосна, откуда было хорошо видно озеро. Когда-то здесь стоял и ждал — чего?.. Оно теперь все было исчерчено дорогами и тропами, где-то вдалеке виднелись кучками рыбаки. А дальше — краешек леса, там, на острове, где я провел столько трудных, горьких, радостных дней. Все это было в прошлом, в памяти моей накрепко. Где-то вы, островитяне? И вы — Екатерина Михайловна, Илларион Петрович, с вашими громогласными голосами? Вспомнил я и Запечника, что крался за мной по дороге, моей дороге в этих краях. И еще раз проклял его и простил.

Я старался оттянуть время. Я не владел собой, мне было нехорошо. Я вспомнил все. Я помнил то, что надо было, может быть, давно забыть.

Здесь, у монастыря, все дороги не только знали Марью, но, казалось, гудели о ней. Марья, которая приютила нас с Машей. Марья, которая научила меня многому. Собственно, все, что тут было,— была она. Она была частью всего окружающего — и озера, и лесов бескрайних... Она наложила на все обычаи,

порядки свою печать, и печать эта была и тяжела и легка в одно и то же время.

Я уже подошел к больнице, что стояла у монастыря, над озером. Ворота были открыты, кругом тихо, безмолвно. Я подошел к белому двухэтажному кирпичному корпусу (это уже не был дом, это был корпус). Несмотря на ранний час, дверь была не заперта. Где-то в середине коридора сидела у белой тумбочки няня в белом платке, халате и в валенках, она спала. И тут я услышал голос в конце коридора, спокойный, ровный его тембр создал ощущение еще большего покоя. Я сразу, как услышал, понял, что это е е, Марьин голос. Вошел в палату и робко остановился. Комната маленькая, чистая, опрятная, с одной кроваткой у окна, занавеска отдернута; солнечный свет играл на стенах; запахи свежие — мороженой рябины, калины...

Марья лежала навзничь, глаза ее были открыты, и голос ее как будто пел:

— ...Изнемогла я, но буду призывать... от восхода солнца и до захода... есть уста, но не говорят... есть глаза, но не видят... есть уши, но не слышат... есть руки, но не осязают... есть ноги, но не ходят... буду призывать... изнемогла я... — Она перестала говорить, не двигалась, слышалось теперь только клокотание.

Я совсем близко подошел к ней и сел на стул, на котором, думаю, сидели многие из округи Марьиной, не только Настена, Вера, Борис... как это всегда было при ее жизни в доме.

Лицо казалось одухотворенным, волосы белые прибраны, голубые глаза смотрели строго и радостно. Руки лежали поверх белого покрывала, гладкие, как будто девичьи. Но что меня поразило — невероятная, быстрая перемена в лице, как будто это ветер гулял или солнце то всходило, то заходило. Некоторые выражения я помнил, угадывал, узнавал, но было и что-то далекое, неузнаваемое — как бы повторение всего пути ее жизненного.

Я долго смотрел на нее и ничего не говорил. А она как будто и не видела меня, хотя глаза и все лицо ее были устремлены на меня.

Прошло время, не знаю, сколько времени прошло.

— И ты прилетел, голубок,— сказала она ровным,

без выражения голосом.— Постарел ты... Песню спой. Платок хочу...— и она снова замолчала.

Я ничего не говорил, не нашел я еще такого слова, которое было бы единственно для Марьи, «стою с поникшею главой...» — с которого надо было начать, хотя и жило во мне такое слово, я знал. Мне хотелось верить, что она узнала меня, что помнила.

— Виноват я перед тобой, Марья... Прости меня.

— Бог простит. А мне не за что...

— ...Празднословия не дай душе моей... И дух смирения, терпения, любви... Буду тебя всегда помнить.

— Какой день, голубок?

— Пятница.

— А час?

— Нет еще девяти...

— Ладно... Ты сохрани слова и слагай в сердце своем... Будь милосердным, ищи и находи. А кто ближний мой?

— Все, Марья, ближние твои... С кем ты косила и молотила, с кем пимы катала, лен убирала, спала на нарах из жердей в войну, когда женщины стали лесорубами, с кем плоты гнала по реке, с кем встречалась в поле, в лесу...

— Не так и мало назвал.— Вдруг глаза ее стали пронзительными, как прежде когда-то.— Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что только добродетель и похвала — о том помышляй. А теперь уходи, устала я. Сейчас и Настена придет, она умеет. Помни обо мне, что я тебе сказала... Больше не приходи... Дай поцелую тебя, нагнись. А теперь ступай, навсегда.

Я вышел тихо, никем не замеченный, и, уже проходя по коридору, мимо спящей в той же позе няни, услышал, как Марья стала голосить, протяжно, причитая...

Снова подойдя к заснеженному озеру, я подумал, понял, осознал, как быстро и невозвратно ушло время с тех пор, как я здесь жил. И понял еще, что теперь здесь я был путником... И такая боль охватила меня, как будто даже слепнуть стал... Не покидай дом свой или не возвращайся в него слишком поздно. А я думал найти тут все по-прежнему: и Марья в саду под вишнями, и Настена, приподняв платье, ступает в воду, и Алевтина со стариком развешивают сети, и Ека-

терина Михайловна с Илларионом Петровичем перекрикиваются звучными голосами, и мы с Машей плывем в лодке, огибая камыши, к песчаной отмели... Всего этого уже не было, все надо было собирать и собирать в памяти. И в этой памяти искать, вспоминать, догадываться, предполагать, ощущать... Как много там осталось!

Я пошел ходко к дому, не зная, что сказать Вере, Борису, Настене.

Меня встретил Савелий. Спасибо ему, что он есть. И пусть он шутит и балагурит, как ему угодно. Глаза его, удивленные, смотрели на меня радостно, в ожидании. Он вряд ли помнил Марью, может быть, мимоходом, по моим рассказам, как куст, как вишневое дерево или радостный спуск к озеру,— для него тогда все было радостью. Он был во цвете лет своих.

Я ждал прикосновения руки его.

— Ты оттуда? — сказал он, внимательно вглядываясь в мои глаза.— Как Марья?

Значит, он знал, Вера не удержалась, рассказала ему. Но что она могла рассказать?

— Все спокойно, Савелий. Время ее ушло. Она при смертной дороге...

— Я так и почувствовал. Вера отвела меня в дом Марьи. Я там все увидел. Ты сам принимай решение. Я так говорю, потому что хочу знать, что мы будем делать все это время. Можно многим заняться... и я могу помочь... или буду рисовать...

— Спасибо тебе, Савелий.

— За что, Василий! Я хочу помочь тебе. Кругом красота. Радость безмерная...

— Вот и не спрашивай ни о чем.

— Может быть, ты не так говоришь? Не надо...

— Ты во всем прав. Радоваться надо, а не печалиться. Так и Марья завещала.

— Всему, что скажешь, буду следовать,— сказал Савелий.

Мы уже подходили к дому.

— Как нам войти? — спросил я в растерянности.

— Там Вера, Николай... Настена еще не пришла. Вера все допытывалась: да как мы в Москве живем, да что за «имение» ты приобрел на Унже... Я, как мог, рассказывал... Хорошо, Настены не было.

— Это почему же?

— Робко мне перед ней.

— И мне тоже.

Савелий осторожно стал спрашивать о Марье, как будто проверял состояние моей души. Он помочь мне хотел.

— Она узнала меня, кажется...

— Ну вот видишь!

— Да. И она говорила мне... говорила, чтобы я был самим собой...

— Я слушаю тебя.

— И еще, чтобы мы жили в мире. Чтобы не сворачивали, какие бы трудности ни подстерегали нас. Чтобы мы были достойны своего пути. И не было бы в жизни нашей скуки, неверия, скорби... Она сказала: радуйтесь. И делайте исправно свое дело. Так мне слышалось...

— Ты думаешь, что Настена сейчас у Марьи?

— Или сейчас, или вскоре придет... Она знает, что Марье отпущено не так много, совсем немного...

— Тебе тяжело...

— Мне больно.

— Почему ты не остался здесь? Не приезжал... Это удивительные места. Люди какие... Таких редко встретишь,— Савелий подошел ко мне совсем близко, хотел было обнять меня, но удержался, только посмотрел долго-долго, так, как будто он увидел наше свидание с Марьей. Когда-то...

Я не стал ему отвечать, просто взял за руку, и мы пошли в дом. Пока я не знал, что там буду говорить, делать...

Николай сидел в уголке как-то незаметно. Только кивнул, когда мы вошли, Вера будто спокойно отнеслась к нашему появлению.

— Пришли,— сказала она тихо.— А Бориса все нет, видимо, задержали... Николай вот говорит, что, пожалуй, до вечера теперь не вернется. Сам собирается к нему ехать...

Она, кажется, не хотела, чтобы я заговорил... Я заметил доску с приколотой бумагой и на ней, карандашом и углем — набросок. Поражала напряженность линий — Савелий был большим мастером. Меня поразило другое. В чертах лица Веры, как бы за ней, находился образ Марьи. Как это у него получилось? Она, вероятно, рассказывала, когда он рисовал, или

он помнил все время, что я у Марьи... Рисунок притягивал с невероятной силой... Вера заметила, что я наблюдаю, но ничего не сказала. Савелий, конечно, догадался и хотел о чем-то спросить у меня, но не решался. Все теперь стало непросто... И я был виновен.

— Что ты сказал, Василий? — Вера остановилась, замерла у стола.

— Ничего,— откликнулся я. И добавил: — Не велела она мне больше приходить.

— Узнала тебя, признала... И Настену принимает. Нас только не видит, не замечает... А врачей не видел? Не говорил?

— Не видел,— сказал я, не поднимая глаз на Веру.— Думаю, ей там хорошо, она ведь когда-то няней работала в этой больнице... Да ей везде хорошо.

— Действительно, всегда она была при деле, в работе, и песни пела,— сказала Вера, подсаживаясь к столу.

Николай поднялся из своего угла к нам.

— Я тоже хочу сказать... Марья за свою жизнь научилась быть довольной тем, что у нее было... умела жить и в скудности, умела жить и в изобилии... Всему научилась. И другим, как могла, передавала это же нехитрое, неистребимое умение. Строила дом наш усердно, заботясь о крепком основании, о добротности, так, чтобы никакие стихии не могли поколебать его.

— Она была всегда с открытым сердцем,— тихо проговорила Вера.— И лицо, и дом всегда были открыты всем... В терпении, великодушии... В силе — тоже.

— Мы подобны детям,— сказал и я.— Сидим, окликаем друг друга. Говорим — играли, а вы не плясали, пели вам плачевные песни, а вы не плакали... Мы боимся, как бы от нас что-нибудь не взяли...

— Будет тебе, Василий,— остановил меня Савелий.— Это, пожалуй, тоже нехорошо. Казниться...

В это время дверь тихо отворилась, и вошла Настена. Весь ее облик пылал силой, красотой... Она увидела нас всех, склоненных над столом, наверное, кое-что и слышала (я помнил, как она не любила речей, длинных разговоров, как была своенравна...), улыбнулась, оглядев всех, и сказала, что пришла от бабушки.

— Кланяется всем,— говорила она, продолжая улыбаться.

— О чем говорила? — спросила Вера.

— Сейчас я к вам вернусь...— Настена скрылась за печкой, потом скользнула в свою комнату.

Возвратилась она в голубом платье, забрав волосы с лица и заколов их сзади, открыв и лоб, и шею, и уши. Так когда-то причесывалась Маша, она и платье это голубое оставила Вере, когда мы уезжали. Вот чем объяснялся наряд и прическа Настены.

Я не стал делать вид, что ничего не заметил, наоборот, кивнул ей: все вижу и понимаю. Вера покраснела. Савелий, кажется, догадался, в чем суть. А Николай улыбнулся — мол, он тоже не лыком шит,— и стал собираться. Прежде чем уйти, попрощался с каждым, спросил еще Настену, как там бабушка Марья.

— Хорошо,— ответила Настена, наградив его долгим взглядом.— Вы, Николай Степанович, не беспокойтесь, ей хорошо. Но я удивляюсь...

— Чему? — спросил Николай, остановившись у двери.

— Да так... Николай Степанович.

— Все понятно,— улыбнулся Николай.— И я могу сказать. В своей жизни еще не видел подобной... Ты меня прости, Вера, но твоя Настена будет подобна Марье...— после этих слов он сделал небольшую паузу и, оглядев всех уже серьезным взглядом, сказал: — Прощаюсь еще раз со всеми. Рад был узнать вас,— обратился он к нам.— Надеюсь увидеться.

Дверь за ним закрылась, и потом было слышно, как отъехал грузовик.

— Бабушка вам тоже велела кланяться,—Настена обернулась ко мне.— Но просила больше не приходить.

— А что она передавала нам? — спросила Вера.

— Не надо, мама. Она очень тебя любит и все спрашивает, спрашивает... Но у нее бывают... бывает вот такое... Она и меня, случается, не узнает. Она и себя не узнает.

— Ладно, не надо,— вздохнула Вера.

— А Василия узнала, Василия Ивановича, потому что давно не видела. Она сказала еще, чтобы вы, Василий Иванович... не забыли взять... Это в ее из-

бушке... Там много чего осталось,— улыбнулась она,— например, ваши сапоги болотные, плащ, удочки... Вы бы когда пригласили к себе, в ваше пристанище... На Унже... тут не так-то далеко, думаю... До дома вашего. Бабушка сегодня была весела, песни пела...— вдруг покраснев, прервала разговор Настена.— Я хотела записать, но у меня плохо получилось...— И снова: — Интересно, как вы там живете?.. Местность я ту знаю, бывала...

— Это она вас разыскивала,— сказала Вера.— Я таить не стану.

— И не надо,— вспыхнула Настена.

— Отчего же! — растерялся я.

— Будете в Москве, и ко мне загляните,— вступил в разговор Савелий.

— Спасибо... и оставим пока это,— попросила Настена.— А то как будто вы уж теперь собираетесь уезжать... Да, совсем забыла... Звонила я сегодня своей подруге, вы ее должны помнить, Василий Иванович. Она с нами на лодке, бывало, каталась. Катенька.

Савелий хмыкнул. А я вспомнил, как поздним летом отвозил девочек на рыбные места. Они любили вдвоем порыбачить и, наверное, в тишине о многом поговорить. Тогда они еще были школьницами.

— Ну вот,— продолжила Настена.— Звонила я ей, конечно, похвастаться, что вы приехали да еще с художником! Борода такая пышная, прямо ужас... Не сердитесь, Савелий, да и вижу, не сердитесь. А моя бедная Катенька — в слезы. Говорит — врачи разбегаются. А она только недавно институт закончила, самый молодой врач в усадьбе Нероновской... в больнице... Ревет, не остановишь. Даже Оля, наша телефонистка, не удержалась, вступила в разговор: я, говорит, разъединю, если будешь плакать. И тоже стала ее успокаивать. Помогите, Василий Иванович!

Я смотрел на нее. Не отводил взгляда.

— Вот! Конечно! И я обещала, что вы к ней съездите. И что-нибудь сделаете. Придумаете... Поможете. Вы ведь все умеете.

Я взглянул на Веру. Она сидела потупившись, как будто о чем-то задумалась, как будто что-то решала для себя.

— Мама,— заметила это ее состояние Настена,—

Я тебе что хочу сказать... Как портрет хорош. Какая ты у нас красивая, мама! Только вы, Савелий, этот портрет не увозите с собой. Пусть здесь останется. Вы еще нарисуйте, чтобы в Москве был тоже. Чтобы все приходили к вам и спрашивали: «А это чей портрет?..»

— Я так и сделаю,— сказал Савелий.— Так и хотел. Чтобы и у меня было на что посмотреть и о чем подумать... Я и вас, Настенька, если позволите, нарисую.

— Меня не надо,— застеснялась Настена.— Василий Иванович... Так что же?.. Так как же, Василий Иванович?

— Боюсь, из меня плохой помощник и защитник. Но можно и сходить.

Это она нас задержать хотела. И дело нам дать.

— Прошу вас всех,— улыбнулась Настена,— не делайте мрачных лиц.— Подняла глаза на Савелия: — Мне теперь надо идти, обратно в интернат. А вы, Василий Иванович, как раз управитесь. Да и не в избе же вам все время сидеть, мужикам! О чем я прошу — это очень важно. Ну, дядя Вася!

— Да едем мы, едем,— оживился Савелий.— Вы, женщины, бываете иногда слишком назойливы.

Настена зарделась, но сдержалась, смолчала.

Вера улыбалась, покинуло ее на мгновение тяжкое состояние, смотрела на дочь.

— Хорошо, Настена, успокойся, мы сходим в Нероново,— сказал я.— И не сердитесь на Савелия, он добрый.

— Вижу.

— Так уж и видите!

Савелий явно любовался Настеной. Он поднял с колен доску, отошел в сторону и поставил ее на сундук, прислонив к стене. На коричневой бумаге была изображена голова молодой женщины, с вызовом обращенная к зрителю.

— Ты, кажется, пользуешься успехом,— говорил я Савелию, когда мы на лыжах стали взбираться на косогор и деревня осталась в низине. Справа был виден монастырь, коричневый, красный на синем снегу, куда, наверное, уже добежала Настена.

Савелий молчал, тяжело поднимался, кряхтел, сопел — не знаю, что на него накатило и кого он изображал. Спортсмена-лыжника или неудачливого ухажера... Но как же было хорошо, несмотря ни на что, снова оказаться с ним вдвоем! Может быть, он это тоже чувствовал.

— Что ты меня изучаешь? — спросил вдруг Савелий.— Я пока не твой персонаж.

Он был ранимой натурой.

Наконец подъем кончился, слева теперь стали видны леса бескрайние, дорога спускалась ровная и стремительная, как стрела, к большой деревне. Савелий вдруг сорвался и, сильно оттолкнувшись палками, понесся вниз, чуть в стороне от дороги. Я хотел броситься сразу за ним, но тут же остановил себя. Мне хотелось посмотреть, как он будет спускаться. Конечно, спуск не такой уж и крутой. Я помнил Савелия в Домбае... Это было зрелище — хо-хо-хо! Но тут совсем другое — плавное скольжение по русским холмам...

Он шел удивительно легко, снежная пыль оседала по его следу.

Встретились мы на сосновой опушке, Савелий как ни в чем не бывало загорал, расставив палки и упершись в них. Я последовал его примеру.

— Мы поспеем в эту твою «усадьбу»? — сказал он наконец.

— Местность, история, вопросы...— начал перечислять я.

— Ты давай не дури,— говорил Савелий.— Понятней, проще... Куда нам двигаться? Как себя вести?..

— Единственное, что нам надо,— это радоваться и быть самими собой. Давать отчет о своих поступках.

— Ты опять за старое... Хорошо. Иди вперед, я за тобой.

На озере было тихо. Ослепительной белизны поверхность как будто колышется, и все озеро видится охватным, близким — края темные и резко очерчены. А там, у монастыря,— колокольня и собор будто слились. На озере заготавливают лед — секут, режут на куски и укладывают рядами, словно строят жилище... Вблизи зеленого оттенка, а издали удивитель-

ного голубого цвета, отличного от речного льда.

Я видел и слышал все, что было в округе: и зимнее необъятное небо, и солнечный свет зимних морозов, и леса бескрайние, и тишину, невозмутимость природы. Тихо было кругом, до страха тихо.

Мы не торопясь шли по целине у края леса и все время следили за дорогой, чтобы не сбиться с пути. Скоро уже я заметил в открывшемся от леса «понизовье» деревушку. В низине. Странно это, а почему так? Близость ли источника, реки, ключевой воды. или затаенность в тишине, скрытности, невидимости— не знаю.

— Там река Векса,— показал я, оборачиваясь к Савелию.— Хочешь спуститься? Начинаются бывшие угодья Черевиных, в чью усадьбу и направляемся.

— Нет,— сказал Савелий.— Хватит мне этих деревень. Опять лешие будут меня за ноги тащить...

— Здесь некогда гарцевал генерал-адъютант. В ботфортах... Любитель выпить, поесть и поохотиться — Петр Александрович Черевин, скончавшийся в тысяча восемьсот девяносто шестом году, товарищ министра внутренних дел, начальник охраны Александра Третьего, на которого было покушение... После этого генерала вроде разжаловали, и умер он, и похоронен здесь, в своем имении...

— Зачем столько подробностей! — вздохнул Савелий.— Я устал... Погоди. Дай мне наконец не думать ни о чем.

Мы скользили молча в тишине, только время от времени падали пушистые шапки снега с елей... Скоро должна была открыться луговина, левее — деревня, прямо — бывший трактир при дороге, а справа, в раздвинутом лесном пространстве,— парк и сама усадьба с церковью. Мы продолжали молча двигаться к цели, я прокладывал лыжню, а Савелий шел сзади.

— Что же ты молчишь? — раздался голос Савелия.

— Да ведь ты сам запретил.

— Будет Ваньку-то валять... Расскажи что-нибудь. Куда идем? Что за усадьба?

— Куда мы идем — сам увидишь. Да и многое узнаешь. Тут рассказ не поможет, на морозе. Глазами...

— Это почему же?

— Увидишь. А о старухе Черевиной могу рассказать.

— Опять это семейство! Ну давай... Только повыразительней, чтобы за душу хватало, чувствительно. И с интригой!

— Хорошо. Была она колдунья — так говорили в округе. Умела травами привораживать... И чем другим... Заговаривала немощь, болезни, любовную сухотку... Она скрывалась в лесах. Это была, кажется, последняя Черевина.

— Ничего себе! И что же она, по лесам бродила?

— Избушку себе приглядела лесную — там обреталась. Из деревень к ней приходили люди. Они потом и пустили легенду о скорбящей княгине...

В это время открылась нам вся панорама местности. Дым из труб поднимался прямо в бездонное небо. Снег синим пламенем полыхал, а парк застыл в черноте своей, давая простор усадьбе с желтыми бликами и церкви со шпилем колокольни. Красное солнце садилось в ясном агатовом небе.

— Все в полном порядке,— хмыкнул Савелий.— Куда же нам нырять?

— Куда угодно,— сказал я.— Будем только держаться того двухэтажного кирпичного дома, в котором, говорят, когда-то был трактир,— там дорога.

И мы снова ринулись вперед — под откос сломя голову, чувствуя только ветер и то, как сердце трепещет в радости...

Мы выскочили прямо к дороге, именно прямо к этому кирпичному дому. Остановились, чтобы перевести дух.

— Хорошо,— сказал Савелий.— Это живописно. В некотором роде восторженно. Будем следовать по такому пути. Далеко еще до самой-то цели? До Катеньки?

— Не знаю. Может, она в усадьбе, может, в конторе... Или еще где...

— Тогда вперед,— Савелий поглядел на солнце.— Как бы нам опять в темноте не оказаться... Где будем ночевать?

— Или там, или вернемся. Не знаю.

— Что значит «не знаю»?

— Ну, если будет попутная,— с лесорубами... В

усадьбе есть телефон — Настена, слышал, звонила. А ее отец, как ты знаешь, с машиной.

— Совсем забыл. Тогда все в порядке. Можно отправляться в путь...

Кажется, он начинал понимать, что к чему.

Мы медленно двигались по накатанной дороге: лыжи скользили и норовили свернуть в сугроб, палки бесполезно тыкались в лед... Наша скорость не шла ни в какой счет, но уйти совсем с дороги было нельзя, по бокам нависали сугробы. Мы шли, собственно говоря, в лабиринте, нам как бы уже была указана дорога.

— Да...— проговорил Савелий, но не стал продолжать.

— Недалеко идти,— сказал я.— Дорога приведет прямо к усадьбе. Это местная дорога.

— Кто же ее так хорошо вычистил?

Я ничего не ответил.

И в это время мы уперлись в бревенчатое препятствие, похожее на шлагбаум.

Савелий снял лыжи и перелез через бревно. Он и дальше хотел идти пешком, но вскоре оставил эту затею и, пристегивая крепления, спросил:

— Будут еще заборы, препятствия?..

— Конечно. Я же тебе говорил. Но это не имеет никакого значения.

— Все понятно.

Мы продолжали двигаться дальше.

Действительно, вскоре дорогу нам преградил снегозаградительный частокол. Его мы обогнули молча. Но только что двинулись дальше, как заметили, что метрах в ста дорога напрочь завалена снегом.

— По целине далеко не уйдем,— сказал Савелий.

— А нам далеко и не надо.

Коридора больше не существовало, но дорога появилась снова, а сбоку от нее пошла великолепно накатанная лыжня.

— Приходится удивляться,— сказал Савелий.— Пока что все интересно и заманчиво, как в детской головоломке.

Я улыбался, глядя на него,— он держался молодцом.

По лыжне мы пошли ходко, тут Савелий ушел далеко вперед и только оглядывался, подгоняя меня.

Вскоре показался и забор, а за ним — в глубине — усадьба. Мы двигались уже парком, аллеей тополей.

И тут крики раздались за одним из заборов — протяжные, не умолкающие...

— Что это? — спросил Савелий, останавливаясь.

— Я тебе рассказывал когда-то, разве ты забыл? Здесь больница для людей, рожденных от пьяниц, в разврате... И эти несчастные всю жизнь будут нести на себе, на виду пороки и грехи своих предков. Блуд, себялюбие, невероятный, чудовищный эгоизм — и вот плоды. Не будем принимать уродство людей за их лицо, и душераздирающие крики за их голос... Постараемся что-то понять, увидеть — иначе для чего мы сюда приехали...

Крики то нарастали, то утихали, а потом мы увидели больных. Они подбежали к ограде и уставились на нас, замерли, может, в испуге. Молчание вдруг наступило среди них. Мы взглянули друг на друга и осторожно, не торопясь, двинулись дальше, как будто мы уже молча поздоровались...

Контора была во флигеле, я помнил. Мы к нему и приближались. А в глубине виден был весь некогда роскошный дворец, обветшалый, в трещинах...

Лицо Савелия выражало крайнюю степень интереса, внимания. Он был напряжен, сосредоточен.

— Савелий! — позвал я, заметив, что он уверенно направляется к дому.

— Что тебе? — спросил он глухо.

— Нам надо бы во флигель. Но ты можешь, конечно, подойти потом.

— Ах, Катенька! Бедная Катя... Ну хорошо, согласен, давай сначала к ней.

Мы подошли к флигелю, сняли лыжи. Дверь, обитая дерматином, была не заперта, железная полоса откинута, тяжелый навесной замок болтался в петле. У дверей была лавка, хорошо очищенная от снега. Мы оставили лыжи у лавки и вошли внутрь.

Из глубины комнаты появилась девушка в белом халате под распахнутым пальто. Не знаю, боялся ли я, что застану здесь человека испуганного, придавленного... То, что я увидел, поразило меня. Это была крепкая, здоровая, цветущая девушка. Щеки ее горели, глаза блестели синевой...

— Что же вы! — воскликнула в радости Катень-

ка.— Не могли меня найти? А я в деревню бегала, ночлег вам спрашивала...

— Да нет, ничего,— ответил за нас обоих улыбающийся Савелий.— Мы же не те врачи, что убежали. Нам хорошо.

— Ну, как вы сами существуете в таком месте? — спросил еще Савелий, чуть пригнувшись.

— Я работаю. То, что теперь происходит,— это действительность. Но необычная. Что-то должно в корне измениться... Я стремлюсь думать о больших и прекрасных вещах. Надо только постоянно держать эту мысль в голове. Ну и добиваться. Я думаю, человек, которого не интересует судьба других людей, жалок и будет испытывать огромные трудности... Из-за таких возникают все несчастья...

Мы с Савелием внимательно слушали.

— Что вы на меня так смотрите? — сказала девушка, чуть скашивая глаза.— Может быть, я что не так говорю? Вы, может быть, хотите посмотреть наши кабинеты... процедурные... Да ну вас, я ведь серьезно. Ничего тут нет необычного, это же больница...

Мы с Савелием молчали. Вид, наверное, у нас был глупый, потому что Катенька вздохнула глубоко.

Савелий отошел к столу, вынул лист бумаги...

— Дорогая Катенька,— сказал я, пытаясь быть серьезным (не люблю быть серьезным, даже если дело касается серьезных вещей),— дорогая Катенька,— повторил я.— Мы, конечно, все посмотрим. Все увидим, что еще не успели увидеть. Но скажите, как же так все-таки получилось, что вы остались здесь почти одна?

Катенька посмотрела на меня долгим взглядом.

— Это случилось, конечно, не сразу... Сначала один врач уехал, потом другой... Технический персонал остался, сторож Аврамий Макарьевич. И деревенские помогают...

Савелий медленно приблизился к Катеньке:

— Вы цены себе не знаете! Вы чудо нероновское... Нам не надо ничего долго объяснять, мы и так поймем.

Савелий стоял рядом с Катенькой, чуть пригнувшись, и улыбался, как малый ребенок. А она удивленно, со все нарастающим вниманием смотрела на него.

— Вы понимаете ли,— продолжал он с ученым видом,— что вы чуть было не сбили меня?

— Нет, не понимаю,— ответила она, улыбнувшись.

— Вы все понимаете,— сказал Савелий, с показным неудовольствием отходя от Катеньки. И у стола поднял перед собой лист бумаги.

Это был рисунок, выполненный разноцветными карандашами. Я всегда удивлялся его умению в любых условиях найти и где рисовать, и чем рисовать. Рукой Савелия были нанесены очертания большого дома и множество лиц, отдаленных и приближенных в перспективе и в различных поворотах и в цветовых пятнах — как будто действительно хоровод и тревожный, и радостный, а где-то в середине, но чуть сбоку и сверху — лицо Катеньки. Она главенствовала здесь, розовые тона преобладали во всем, было много белого и синего.

Откуда-то из глубины глухо зазвонил телефон. Катя сказала спокойно, ласково:

— Пойдемте, там тоже много интересного. Это, наверное, Настена звонит.

Катенька отперла одну из дверей, и мы последовали за ней.

Другие комнаты были просторны и нарядны. Диваны, обилие мягких кресел и очень мало стульев. Савелий, казалось, не обращал ни на что внимания — он был тенью Катеньки. А она уже прошла две комнаты и теперь сидела на диванчике работы мастеров павловской эпохи и разговаривала по телефону с Настеной. Мы разместились напротив. Было очень удобно и даже приятно.

Не буду передавать разговор, который вели подруги, потому что мы к нему мало прислушивались и еще потому, что разговор двух подружек касается только их самих. Скажу только, что голос Катеньки звенел, переливался... Что же мы делали? Мы смотрели друг на друга, и Савелий говорил мне одними глазами, всем своим видом, что ему здесь нравится, что ему хорошо.

— Вы что-то сказали? — спросила Катенька, отрываясь на мгновение от трубки, хотя мы сидели тихо.— Простите, ничего не слышно! — Тут, вероятно, вступила в разговор телефонистка, потому что Ка-

теньке и всем там, где-то, стало весело. Во всяком случае, Катенька хохотала. И это продолжалось довольно долго.

Кончив разговор, она повернулась к нам:

— Настена передает вам приветы. Спрашивает, вы приедете или останетесь? Дядя Боря хотел поехать за вами....

— Мы останемся,— сказал Савелий.

— Я так и думала,— засмеялась Катенька.

Я вспомнил свое прошлое у стен монастыря — все радостное существование было далеко-далеко.

Катенька поднялась с диванчика и долгим взглядом посмотрела на меня, потом на Савелия. Он тоже встал. Казалось, они должны были сейчас уйти вместе. Почему я продолжал сидеть? Неужели на меня уже не действовали чары нероновских красавиц? Действовали, уверяю вас, но я был по природе своей задумчив.

Катенька, наверное, еще не догадывалась, что Савелий большой «театрал». И тут я увидел, что эта девушка, наверное так мало видевшая в жизни (да и что мы подразумеваем под этим словосочетанием?), могла в одно и то же время быть хрупкой и сильной, серьезной и радостной. Как она, храбрая, прямолинейная, с веселым нравом, держала в своих руках эту «усадьбу», эту больницу, где на каждом шагу подстерегала неожиданность?..

— Я думаю, что нам здесь долго оставаться не стоит,— я взглянул на Савелия и Катю.— Пора в большой дом?

— Я хочу рисовать,— сказал он.— Завтра представится такая возможность?

— Мне как раз пора делать обход,— сказала Катенька.

— Идем в большой дом,— сказал я,— будем сопровождать Катю.

Путь нам предстоял нелегкий.

Когда мы вернулись в ту комнату, где встретили Катеньку, увидели, что здесь уже кто-то побывал. Савелий бросился к столу, на котором он оставил лист с рисунком. Там ничего не было, бумагу унесли.

Мы с Катенькой наблюдали, как Савелий обошел комнату и вернулся к нам. В его глазах что-то по-

явилось, чего я раньше не замечал. Так мы стояли некоторое время, потом Савелий сказал:

— Я буду благоразумным. И обещаю быть внимательным, серьезным...

Катенька улыбнулась и пригласила:

— Пойдемте.

— Хочу вас предупредить,— сказала спокойно и мягко Катенька,— никаких резких движений, громкого голоса, смеха... Но, я думаю, вы и так понимаете.

— Я хорошо понимаю,— сказал Савелий.— Помню свое детство, когда началась война... Я провел юность в нужде и не только много размышлял, но и мучился, страдал, плакал... Мое отрочество было бы безрадостным, если бы не стал художником...

Катенька остановила его, дотронувшись рукой до его плеча.

Мы направились к дому.

Эх, как зеленому лесу расступиться, а доброму молодцу голову сложити! Не сердце вынимать стараться, да уж и какое сердце,— так, одни жилы приросшие,— а голову отломить... И запрятать несчастную, чтобы не болела, не кручинилась... А самому сбежать. Сбежать да в лесу деревом прорасти — вечнозеленым, игольчатым. Так и замереть, не шелохнувшись. Да чтобы солнце всходило, поднималось в зенит да опускалось неторопливо, баюкало нас горемычных...

Стоял вечер, тревожный и напряженный в затишье, ожидая ночных звуков и ночной жизни, отличный в лесу, в поле, на болотах и здесь, в парке. Рассудок прояснился, мы наконец вышли из дома. В ушах еще звенело, гудело...

Казалось, шествовали за нами дети с глазами страдальцев. Они, конечно, принимали то, что было тут, за обычность. Потому что здесь, в доме, где на стенах такие же безвинные дети с крылышками опускали венок на землю, а кругом были разбросаны цветы, листья и плоды, проходила их жизнь...

Наконец все смолкло, прекратилось. Мы стояли в парке, где летом зеленела лужайка и клумба горела огненными цветами, а теперь снег кругом светился

под яркой луной. И так видно все вокруг, и тени от нас скользили по снегу. Было тихо, спокойно, тревожно, тревога была возвышенной. Мы молча шли со своими лыжами под мышкой. Катенька несла чемоданчик, а в нем был и рисунок Савелия, тот самый, на бумаге, который как будто потерялся.

Мы вышли за ворота и пошли дорогой к деревне. Но нам не суждено было рано уснуть сегодня.

Хочу еще продлить то мгновение, когда мы шли под луной и звездами в этой глубокой ночи. Как будто снова наступило то счастливое время, когда вместе вся семья и все счастливы, как когда-то в молодости, и этим, и собой, и всем... Праздник. Он длится только мгновение, и это мгновение остается в памяти на всю жизнь как пример, как напоминание, как путь.

Дорога привела нас к дому Аврамия Макарьевича, сторожа больницы инвалидов. Давнего моего знакомца. Я знал его давно, с первого почти дня, как нашел эту местность. Встретился он мне на проселочной тропе, у источника, родника. Мы попили воды и разговорились. Потом я бывал у него дома, познакомился с женой его — Анной Кузьминичной. И он сам наведывался ко мне, когда я жил здесь. Беседы наши обычно касались названий местностей, их истории... Еще мы говорили о травах, полевых цветах... Рассказывал он и о войне, в которой прошел свой путь до Одера... Иногда только наши разговоры касались его личной жизни. И об усадьбе он почти не упоминал, так, мельком. Вообще у меня сложилось впечатление, что это человек скромный, тихий, ненавязчивый, что он скорее живет в себе, а не на людях; иногда у меня мелькала мысль, что есть в душе его какое-то неразрешимое обстоятельство. С Анной Кузьминичной детей у него не было. Но это, кажется, не то обстоятельство, о котором я предполагал. И не голос его надтреснутый, и не бельмо на одном глазу, отчего, видимо, ему не дано было стать каким-либо ответственным лицом в работе. Это тоже не было той причиной, тем обстоятельством, о котором я думал.

Уже с того времени, как я встретился с ним, а может, и задолго, он числился сторожем церкви, которая помещалась в усадьбе. И самой усадьбы. В

ограде были похоронены многие владельцы усадьбы, и Петр Черевин, о котором я упоминал, тоже. Только на его плите не было ничего сказано о его последних бесславных годах, но было начертано, что этот славный офицер и дворянин участвовал как герой в войне 1812 года и вошел победителем в Париж.

Вот эту церковь Преображения и охранял Аврамий Макарьевич, будучи представителем, стражем государства, потому что как сторож он получал плату и потому что у входа была прибита мраморная доска, где написано, что это памятник архитектуры и охраняется он государством. А охранял Аврамий Макарьевич. Церковь действительно была красоты необыкновенной — выстроенная в павловскую эпоху, она не перестраивалась, не достраивалась, может быть, и не подновлялась и сохранила первозданный свой облик как снаружи, так и внутри. Небольших размеров, спокойных пропорций, соразмерная и стремящаяся ввысь своей колокольней, она производила впечатление невесомости и в то же время причастности к земле.

Внутри был резной иконостас и несколько старинных икон. Три раза в год здесь проходила служба. Приезжал из города священник — крепкий, здоровый, сорокалетнего возраста — на мотоцикле с коляской (он был когда-то гонщиком), снимал шлем, переоблачался из кожаного своего костюма в расшитые золотом одеяния священника, и начиналась служба, где Аврамий Макарьевич был прислужником, то есть зажигал свечи, подавал кадило...

Вот почти все, что я знал об Аврамии Макарьевиче...

Мы прошли парк и аллею тополей, вышли к березовой роще, за которой показались и первые дома деревни, свет в окнах. Тут Катенька остановилась как бы передохнуть, такое она сделала движение — вздохнула глубоко, посмотрела на звезды... Потом улыбнулась и сказала:

— Я договорилась о вашем ночлеге и могу туда проводить... Но знаю, что вы завтра утром уедете рано... А мне надо с Василием... Ивановичем успеть обговорить некоторые подробности — об усадьбе, о врачах... Но дело в том, что сейчас я должна навес-

тить Аврамия Макарьевича... обещала ему,— и она обернулась к Савелию.— Это сторож нашей больницы.

— Наслышан я об этом стороже, Василий рассказывал... Хотел бы повидать его.

— И мы,— улыбнулась Катенька,— достаточно знаем о вас...

— Откуда же такое знание? — спросил я.

— Вы здесь жили,— сказала она,—а о тех, кто здесь жил или живет, трудно что-нибудь не знать.

— А! Каково! — воскликнул Савелий.

Катенька смутилась, но тут же посмотрела мне прямо в глаза. Она стояла и ждала, что я скажу... А я, кажется, на какое-то мгновение отключился. Где-то там, в глубине сознания, в стороне от забот, мне виделся образ Марьи. Скорбь, мука, исход. Что бы это все значило? Мне было действительно радостно, хотя скорбь и груз воспоминаний я чувствовал на своих плечах и в сердце своем. Но этот груз не был тяжел, потому что это была моя жизнь, моя ноша.

— Конечно,— услышал я свой голос.— Я сам собирался к Аврамию Макарьевичу.

Катенька с благодарностью посмотрела на меня, но внимательные ее глаза, кажется, заметили и еще что-то, чего я не высказал.

В доме у Аврамия Макарьевича было чисто, полы выскоблены до белизны и покрыты разноцветными половиками, выкатанными Анной Кузьминичной. И сами они, хозяева, в неизменных своих одеждах: Анна Кузьминична в синем платье с глубоким вырезом на груди, Аврамий Макарьевич — в черных шароварах, заправленных в валенки, в белоснежной рубахе, застегнутой наглухо, а поверх — жилетка из такого же синего материала, что и платье Анны Кузьминичны, но на заячьем меху. Все было так же, привычно, приятно, как будто я и не расставался с ними. Однако некоторые детали, незаметные подробности говорили о том, что время не только пролетело, но в корне здесь что-то переменилось.

Остановившись в этом месте описания той далекой зимы, столкнувшись с трудностью передать свое тревожное состояние,— вспомнил письмо, недавно по-

лученное от Савелия из иноземного его путешествия. В конверте была фотография — все так же усат, бородат, в кепке-восьмиклинке, в плаще и шарфе, перчатках, Савелий на фоне озера, горного пейзажа с редкими оголенными деревьями; озеро было покрыто льдом и запорошено снегом, вблизи берега синели полыньи. Вдали, где-то на середине озера,— собака на белом снегу... Вот что он писал: «Под Мюнхеном, в поселке Мюрнау, где жил небезызвестный художник Василий Кандинский у своей подруги Габриелы Мюнтер. Вдали горный Инсбрук, снег, собака. Василию — Савелий. Февраль». Так все это выглядело. Вспомнил письмо потому, что думал в этот момент о проникновенных страницах «Писем русского путешественника» Николая Михайловича Карамзина и о несравненном «Тарантасе» графа Соллогуба, истинно русского путешественника по русским местностям... Или в обратной последовательности это пришло в сознание? Или одновременно? Я ведь не был ни в Париже, ни в Мюнхене, но это не имеет теперь значения, тут важно стечение этих мыслей по поводу...

Я помнил едва ли не наизусть несравненный «Тарантас». Это вам не лихая гоголевская тройка, тут едешь и едешь словно на лыжах по необъятным просторам (и как ведь объявлена тема — путевые впечатления!): «...Путешествуют там, за границей, а мы просто едем к себе в деревню...», или: «Старина наша не помещается в книжонке, не продается за двутривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни», или: «...Души наши не были испорчены, но испорчены были наши привычки», «Не теряй из виду своей цели». И я прислушиваюсь к этому последнему предупреждению и снова приступлю к повествованию.

Нас встретили с особой почтительностью. Мы всегда здоровались с Аврамием Макарьевичем небольшим, но продолжительным поклоном и при этом смотрели друг другу в глаза. На этот раз было так же, только теперь за нами внимательно наблюдал Савелий, как всегда, острым взглядом. Я представил Савелия, и они тоже посмотрели друг другу в глаза. Конечно, это все увидели — и Анна Кузьминична, и

Катенька, но на самом-то деле никакого такого намеренного жеста не было. Постараюсь объяснить проще. Мы вошли и сразу поняли — что-то случилось. Когда я подошел к Анне Кузьминичне, чтобы поздороваться с ней (с ней мы всегда расцеловывались), я заметил, что глаза ее заплаканы, она хотела броситься ко мне, но ее удержал взгляд Аврамия Макарьевича...

Итак, мы уже сидели все у стола, где был самовар и все прочее, необходимое для приема гостей, Анна Кузьминична разливала чай, Аврамий Макарьевич все еще бродил по комнате, что-то бормотал, никак не мог присесть к нам. Тогда я встал и подошел к нему.

— Что произошло? — спросил тихим голосом.

— Что и должно было произойти,— ответил он таким же тихим, ровным голосом, твердым и уверенным.— Ушла от нас Марья. В вечный покой.

Конечно, это не было неожиданностью, но все во мне оборвалось — все теперешнее и бывшее, вдруг, в один миг отодвинулось далеко-далеко, в прошлое, невозвратное.

Нас уже слышали, конечно. Катенька подошла к нам. Слезы текли по ее щекам, слезы утешения и молодости. Она прижалась к Аврамию Макарьевичу, и был этот жест доверчивый и беспрекословный...

Аврамий Макарьевич обратился к нам:

— Разделите с нами наше горе.

Савелий встал и сказал:

— Я оказался здесь не совсем случайно. Мы с другом отдавали себе отчет, когда собирались ехать сюда, что встретимся с живыми людьми, у которых будут свои заботы, радости и печали, и что мы в меру сил будем с ними разделять их. Но то были мысли, а здесь — чувства. Я слышал, знал о Марии так, как будто бы она существовала рядом со мной, в моей работе, жизни... Я видел везде ее присутствие, таких людей, как вижу и сейчас, когда ее уже нет с нами. И я видел, какой опечаленный пришел сегодня Василий, простившись с ней, и вижу вас теперь... И я с вами.

Мы молчали некоторое время.

— А вы, Савелий, я слышал, художник? — спросил Аврамий Макарьевич, пристально взглянув на

него.— Я хотел показать вам свое собрание картин и несколько икон. Хотел показать и свои работы... Есть у меня портрет Марии.

— Нет,— сразу ответил Савелий.— Портрет Марии не показывайте. Мне самому надо написать ее портрет. Вы простите меня, но иначе я, может быть, не смогу...

— Хорошо, покажу вам одну древнюю икону,— Аврамий Макарьевич поднялся.— Она мне особенно дорога еще и потому, что осталась от деда. Ее хотел бы после себя оставить музею...

...И был у меня как бы сон.

Когда лежишь в теплоте дома и день уходит в зимних сумерках, кажется, что давным-давно начался этот короткий день с его бушующими красками исхода и что уж так много сделано за эти часы работы, хлопот хозяйственных... И вот, когда находишься в этом состоянии хорошо прожитого дня, тогда и приходит радость, какая бывает только в детстве: день вдруг кончился зовом матери, и весь распаренный, бежишь в дом, видишь, как стемнело, и нестерпимо хочется в тепло, на кухню, где стоят запахи еды. Но ты еще сопротивляешься, еще продлить хочешь это состояние неопределенности... Потом ты весь в сухом, домашнем, за столом, а рядом — пахучая каша гречневая с топленым маслом, розовый кисель, молоко... И уже не помня как, оказываешься в постели чистой, прохладной, шуршащей... А тут вдруг наступает утро — запахи завтрака; шаги матери, ее голос, который будит не торопясь... И тут начинаешь думать о том, о чем вчера не успел, а впереди весь день, и солнце светит прямо в глаза...

Савелий долго пробыл в рабочей комнате Аврамия Макарьевича, так мне показалось тогда. Слышны были приглушенные голоса, шаги... Мы сидели молча. Катенька прижалась к Анне Кузьминичне, большой, теплой, доброй, и замерла.

Сама Анна Кузьминична казалась спокойной, достойной и возраста своего, и того положения, в котором пребывала. А я был предоставлен самому себе,

мне была дана свобода размышления. Я понимал, что пока еще жива была Марья, все вокруг оставалось как и при ней, когда она находилась еще дома. Теперь все изменится. Но как? Об этом я и думал. Я помнил слишком хорошо, что все тут было связано с ее именем, присутствием во всем. Я с тревогой думал о своей работе, о своем доме... Я понимал, что мы здесь останемся на несколько дней, и в то же время мне нестерпимо хотелось к себе, к своему дому, который столько времени был без меня. Только там, ничем не стесненный, я мог отдаться тем чувствам и размышлениям, которые уже пришли теперь и толпились, обступали меня. Осознать, что произошло со мной...

Я еще бродил по дому Аврамия Макарьевича: кажется, он и мне что-то показывал, картину ли, тетрадь ли... А Савелий тихо нашептывал Анне Кузьминичне... Велись приготовления: скоро должен был приехать Борис и отвезти нас.

Савелий милостиво снял с меня все заботы, всю суету... Помню, я выходил из дома на морозный ночной воздух, смотрел на небо... И когда вернулся, слышал, как Аврамий Макарьевич говорил Савелию: «...береги его, помни, что я тебе сказал...» А что он ему сказал?..

Борис приехал спокойный, серьезный, подтянутый, но деловитость его была нарочитой, и за ней скрывалось невероятное отчаяние.

Мы все погрузились в крытый кузов, и еще какие-то люди сели с нами. Анна Кузьминична устроилась в кабине с Борисом. Когда мы поднимались и освещали борт фонарем, промелькнула надпись: «Люди». Ехали в молчании. Приблизились к деревне, стали слышны голоса, и полохнул свет, слишком яркий для зимней ночи. Борис вел машину медленно. Гул голосов в морозной тишине звучал, как перезвон и уханье колоколов, а колеблющееся пламя в домах показывало, что наступило время, отличное от вчерашнего. Была освещена и избушка Марьина — хозяйка снова была в ней, ненадолго.

Катя с Аврамием Макарьевичем и Настеной тут же пошли к покойнице, а мы с Савелием остались

пока дома. Вера по-прежнему была тиха, но, как будто не торопясь, успевала и встретить тех, кто приходил, и дать распоряжение соседкам, которые уже принялись готовить поминальный обед.

Мы с Савелием сидели молча, как никогда понимая друг друга. Получалось, будто мы приехали на похороны. Савелий смотрел на меня с тенью упрека, вроде бы я знал и не сказал ему об этом. Он хорошо смотрел, лицо его загорело, разгладилось, ушли морщины московского беспокойства. Я видел теперь, что его следование за Катенькой было нежным прикосновением к природе, к чистому ее существу, к тому, что мы искали и будем искать всю свою жизнь.

Вот настал и наш черед идти к Марье, взять на себя ношу... Мы, казалось, долго-долго шли к избушке вытоптанной в сугробе тропой,— ее не было, когда мы приехали сюда,— мимо вишневых деревьев, кустов крыжовника, рябины с оставшимися красными ягодами, мимо колодца летнего, где зимой вода замерзала... Я запомнил эту тропку летней, в высокой траве, здесь почему-то не выкашивали траву; осенней, выложенной гладкими чистыми досками; весенней — в тонком прозрачном льду; и зимней, среди сугробов. Но теперь это была даже не тропа, а дорога — люди шли и шли...

Марья лежала на столе в последней своей одежде. Пламя свечей, потрескивание их и мерный голос Аврамия Макарьевича, читающего псалмы по усопшей,— все это было в мире покоя и необходимости. Мы подошли ближе. Аврамий Макарьевич взглянул в нашу сторону, чуть повернув голову, продолжая читать: «...лица твоего, и в наслаждении твоея красоты, его же избрал еси, упокой...»

Пелена закрывала Марью, черное с белым... Аврамий Макарьевич читал о нищих духом, о плачущих, об алчущих и жаждущих правды, о милостивых, о разбойниках, о чистых сердцем...

Я стал бродить по дому, и под ровный голос Аврамия Макарьевича являлась мне «дней ушедших череда»... Что-то он не то говорил, что теперь полагалось... Но ему, конечно, было видней, что совершать. Савелий присел рядом с ним, и лица их, спокойные в пламени свечей, запомнятся мне такими на всю жизнь.

...И снова был мне сон. Я видел и слышал, как будто лежал где-то в трясине, в шуме осин, а меня обступили по косогору пастухи, кузнец, учителя начальной школы, лошади вместе со своим конюхом, подвыпившие трактористы, мальчишки на конных косилках, как будто воинство древнее, пышнотелые бабы с пекарни... Уставившись на меня, как на чудище, все сокрушенно качали головами, а старушки в белых платочках, как будто собрались на праздник, причитали: «И что же мы тебе говорили, и зачем же ты приехал в такое время, и что же за нужда?..» Я все пытался услышать знакомый голос, который поддержал бы меня, и если не вытащил, то хотя бы одобрил... А люди стояли с мешками, корзинами, коробками, и руки их были заняты... Я пытался увидеть сосновый бор вдалеке, а видел только черные поля, лощину, бегущие тучи... Я хотел увидеть дубраву и золотистый песок при слиянии рек, а видел, как туман поднимался с низин, как птицы в растерянности порхали у дороги... Кладбище на склоне, церковь с колокольней, бани у пруда с ивами, серые серебристые дома с соломенными крышами дворов. Восход солнца я углядел, кромку розовую, и тут же с горохового поля поднялась стая черных птиц, в тишине, в строгом порядке, сопровождаемая россыпью воробьев, отлетающих веером в сторону... Тихо было вокруг, и голоса смолкли, и недвижно было все кругом. Хотелось запомнить эту неумолимость явления, скорбность, необходимость и грусть, которая появилась во мне, и тот зов и беззвучность природы, мощь ее и тишину.

...И слышал голос Марьи. Ткала она коврик на старом стане, который я обычно привык видеть запыленным на чердаке; теперь все это было в каких-то просторных светлых комнатах. Разноцветные лоскутки и бантики создавали рисунок пестрого луга, травяного, цветочного, летнего. «Ты проходи, проходи, не стесняйся,— говорила Марья, пристально на меня взглядывая,— хочешь, на печи отогрейся, пока я дело кончу. На тебе и лица-то нет...»

Я полез на печь, от греха подальше, от расспросов, от предчувствия того, что разговор наш опасен... И, расположившись на теплых мешках, вытянув ноги, слышал, как пел ее голос:

«...Учились там мало крестьянские дети — год или два — а уж больше-то где там! Расписаться сумеешь, письмо ль написать или в книге кой-что разобрать. А ученье крестьянам — куда? Жить научит земля да соха. Подрасти, за работу берись, за соху за кривую держись. Землю-мать научись полюбить. Да лошадку сумей накормить. Состоянье крестьянское — конь. Лесоруб — так пила и топор. А землею тогда дорожили. На хозяйства, на души делили. Промеж каждым загоном — межа, разделяли «тебя» и «меня». Где радивый хозяин — загон свой удобрит. Земля не забудет, она все запомнит. Стоит на нем жито отменной стеною, плывут переливы волна за волною. Ленивый запустит загон пустырями, и тот зарастает и мхом и кустами. И все это было при царской России — неграмотность в людях, и землю томили. Россия теперь уж зовется Советской — деревня и поле как будто воскресли...»

Точность собственной жизни,— думал я. Голос Марьи все настойчивее уводил меня как будто в какой-то цветной сон: «...на далеких землях, за дремучими глухими лесами стоят редкие деревни и погосты... Есть там и озера, и реки текут — рыба водится дивная, золотое перо».

И я слышу, как Марья говорит: «Кто же наш родной край сделает таким, чтобы в нем всем хорошо было жить? Люди, и при помощи государства. Земли для сельского хозяйствования у нас немного. И для животноводства нет удобства. выпасов. Но этим нужно заниматься. Есть у нас неудобные, заброшенные земли, которые совсем бездействуют. Над ними надо работать, чтобы они стали пригодны. Что же нужно делать? У нас есть леса, а в них большие торфяные болота. Залежи торфа, и лес там гниет без призору. Сколько же ветролому пропадает — ужас! А во время прореживания делянок это предается огню. Если бы устроить все специалистам, наладить дороги, наверняка нашлось бы чем здесь заняться. Необходим завод для переработки древесины, чтобы она не пропадала в лесу и не предавалась огню. А то деловое во время заготовки леса вывезут, а остальное сжигают. Будет завод, тогда и кислые торфа пойдут в де-

ло, их можно опреснить компостированием. А при заводе появятся для этого возможности. И земля наша тогда помолодеет — ей ведь нужны удобрения. Тогда и люди будут жить в своем родном крае, и никуда никто не поедет. Мы все любим свой родной край, потому что он приволен и удобен для жизни человека. Реки — наши красавицы — окружают нас, как ограда надежная, от безводья людям страдать не придется. И лучше нашего климата нигде не найти. Но земля требует заботы и удобрения. У нас же его на века хватит, и не выберешь. Только надо заниматься этим делом. Нужны и знающие люди. Строиться у нас есть из чего — лес и камень свой. В глине вязнем кругом, а кирпича нет. Опять же — почему? Нет производства. Да тут столько разнообразного богатства лежит...»

# Пятая часть

## Обретение дома

Сейф был пуст. Сам сейф не сгорел, конечно, закалился. Сейф был открыт, я, видимо, забыл его запереть. Да и к чему, ведь то была моя прихоть. От самого дома осталась русская печь, кровать моя деревянная сгорела и стол... Что еще осталось? Да ничего. Железки остались. Баня осталась, огород, видимо, остался под снегом, колодец, шест с тряпкой выцветшей...

Непроста деревня... Случается в ней и такое...

«Что же делать?» — думали мы с Савелием. И решили: петь, пока еще поется, не умолкать...

Я старался вспомнить, кто жил до меня в этом доме и что в нем было, из чего он состоял, кто бывал у меня... И все вылетело из головы. Я только помнил, что матери никогда не было здесь.

Слово, пение, рисование — вот действия достойные! Конечно, я имею в виду и работу!

Да, была ярость, но не раздражение.

Пока Савелий куда-то уходил,— да, куда же он уходил? — к Аннам, наверное, я сидел у сгоревшего дома, на лавке. Вспомнились названия картин Савелия, что он показывал мне перед отъездом: «Старое дерево», «Зеленый мост», «Летний луг», «Ночная пряжа». Все в зеленой гамме, в зеленых тонах.

Приехали мы сюда в санях под вечер,— тракторные сани,— но было еще достаточно светло. И в Мифодьеве не остановились, и на лыжи не встали — все торопились в дом, в его тепло: натопить, наварить, наговориться — и спать на печку... Теперь только печь и осталась под звездами. И все стало ясно — надо ехать в Москву, и если не бежать, то торопиться...

Савелий затащил меня в дом к Аннам. Может быть, он был и прав — сегодня уже поздно ехать.

Мы сидели, беседовали. Но как-то все спотыкались. И мы, и они. Анна-старшая,— крепкая нестареющая женщина, которая столько уже раз спасала

меня,— была несколько смущена, кажется, что-то хотела мне сказать, но не решалась. Анна-младшая,— хрупкая, мальчишеского склада, учительница литературы,— наблюдала за нами, за своей матерью и все суетилась. Конечно, невесело было. Не так мы предполагали встретиться с ними. Я ни о чем не спрашивал, а они пытались не смотреть мне в глаза. Но смотреть все же приходилось, и в общем даже хотелось. И наконец Анна-старшая, выдержав срок, сказала:

— Подложили мне тут письмо для вас...

Вот, вот, этого я как будто и ждал — записки, бумажонки от Запечника или кого-нибудь подобного ему.

— Я хотела было распечатать, да не стала,— добавила она.

И почему-то с трудом встала и принесла мне конверт, где было написано мое имя и мои клички. Я попросил позволения у всех выйти и прочесть наедине.

Стоял в сенях, держал конвертик в руках и уже думал тут его и сжечь, не читая. Но любопытство победило.

Внутри была бумажка, вырванная из школьной тетрадки в клеточку. Написано мелким почерком, с нажимом: «Все же пожалел тебя, падла, а не надо было. Но будет тебе наука. Бумаги твои, картинки и фото в сундуке, а сундук под яблоней. Подавись своими бумажками. И чтобы ты больше на мои глаза не появлялся. Не хочу, чтобы здесь околачивался, подглядывал да подсматривал. Попадись еще мне...» Далее шла уже непотребная матерщина.

Склад всего явно напоминал Запечника. А буквы корявые, как будто писал не той рукой... Дело его было — еще раз — сделано. Почему именно он? Да больше некому. Перевелись такие. Он, конечно, ждал ответного хода. А я его делать не собирался. Никогда. И покидать эти места навсегда тоже не собирался.

Я пошел на пепелище, пробрался на огород, к яблоне, где летом любил обедать в кругу друзей. Под столом у яблони был действительно кованый сундук, который обычно стоял в чулане. Я попробовал приподнять, ничего не получилось. Постоял немного, пы-

таясь что-то вспомнить, но ничего не приходило в голову. Надо было возвращаться к Аннам, там меня ждали.

Все сидели хмурые, молчаливые. Я пытался пошутить, но у меня не получилось. Но сделать что-то надо было, чтобы покончить с прошлым, случившимся, отодвинуть его и начать жизнь снова, продолжать ее в радости.

— Мне с вами хорошо,— сказал я.— И ты, дней юности товарищ дорогой, не грусти. Дружба не сгорает. И любовь не проходит. И песни поются всегда. И добро не пропадает. А зло улетучивается, а злоба сгнивает, а мерзость пропадает, как мираж... Нет ничего более долговечного, чем человек, существующий в радости. Как вы к этому расположены?

Все смотрели мне в глаза, кивали и улыбались. Жизнь продолжалась, жизнь была прекрасна.

Весь вечер мы пели песни, как когда-то летом, у костра. И заснул я быстро, спал крепко и хорошо.

Красное солнце поднялось в свое время. Мы с удовольствием позавтракали. Анна-старшая была мастерица на все руки и душевной щедрости необъятной, некогда гонявшая плоты по реке вместе с Марьей. Сундук мы с Савелием отнесли к ней в «летник», и на мои последние предостережения она ответила, что если и ее дом спалят, выстроим новый, да какие еще хоромы! Ярости ей тоже было не занимать. Как и силы. Как и страсти.

Лес темнел, объятый тишиной, в белых полях вдали видна была гора, обросшая кустами. Раздражения у меня так и не возникло, все было как прежде, все было со мной, и я был среди своих, среди друзей. Строил свой дом.

Не по тому, так по другому поводу в доме Анны перебывала уже вся деревня. Спрашивали, когда я вернулся, и что я теперь делаю, и как в Москве, и что в мире. И надавали мне поручений, нагрузили меня заботами, всем тем, что радовало душу.

Книги не сохранились. Они сгорели, как это ни прискорбно. Но рукописи их где-то остались. В конце концов ничто не пропадает, хотя вселенная и расширяется.

Я, кажется, следовал мудрости: нашел соседа, прежде чем строить дом, и нашел друга, прежде чем

отправиться в путь. Конечно, я не строил дом, я только въехал и подстраивал этот дом. Каждому приходится строить, но возводят сообща, хотя бы один раз в жизни. На каменном основании.

Кто был в разное время хозяином дома, в котором я изредка жил в деревне? И кто был первый, кто строил этот дом?

Строили всегда Миром.

Дом смотрел некогда глазами своими в озеро, охватывая взором и всю округу — свет в окнах виден был издалека. Лучины, коптилки, свечи.

Хозяин в свое время построил дом из дерева, в основание положил бревна дубовые и камни большие. И двор велик построил, огородил тремя рядами тесаных камней и одним рядом бревен. Потом пригласил художников украсить все внутри и снаружи... Чтобы избавиться от всякого навета. И всякую немощь, и всякую зависть, искушение, чаровство пресечь. Видимо, скорый в заступничестве и крепкий в помощи был хозяин Этой Местности — Народ. Видимо, был могуч, крепок, радостен... И видел Народ все — и судьбу и беду — в бесконечном ходе времени, под общим небом.

Гигантские, титанические группы представлялись мне. Ярость. Сила. Любопытство. Зависть. Достоинство. Ненависть. Гордость. Ужас. Страдание. И Любовь. Да, и любовь. Все это снова и снова ждало, встречало меня впереди.

Я плыл по реке своей. По своей жизни.

# Шестая часть

## Десять лет спустя

Знали они друг друга давно, еще с той поры юности, когда не расставались днями,— бывало, засиживались в компании далеко за полночь и тут же, где попало, ложились спать. Случалось, оставив занятия, неожиданно на несколько дней забирались в глушь, куда-нибудь под Загорск, и бродили с мешками, в ватниках, резиновых сапогах, потом в дачных поселках находили знакомых или приятелей своих знакомых и там оседали. Работали, делали этюды, зарисовки... А затем снова был город, столица, многоликое и огромное пространство, и они снова двигались по довольно причудливым кругам, но успевали работать, и думать, и оставаться наедине — Василий писал рассказы, а Николай рисовал.

Но потом как-то вдруг неожиданно, они и сами не заметили, что же случилось, кто-то куда-то уехал. По делу. Вот именно, да-да, появились дела. Стали определяться их профессии, направление интересов. И тоже вдруг кончилась лихорадочность отношений — они стали взрослыми. Но встречи продолжались. На какое-то время они опять попадали в один круг, но уже что-то делали или пытались делать вместе: ходили в издательства, придумывали книгу, однажды съездили вместе в командировку — тогда реконструировали Мариинскую водную систему...

И вот как-то весенним днем, когда воздух был пропитан ожиданием, когда вот-вот должны были распуститься почки, друзья встретились в центре Москвы, в Столешниковом переулке. Бросились друг другу в объятия, как бы продолжая последний разговор и последнюю ссору (да, да, бывали и ссоры, а как же им не быть).

Вместе они составляли довольно внушительную пару. Кудлатый, похожий на какую-то птицу Николай, со следами краски на лбу, в куртке меховой и свитере, откуда выглядывал, топорщился конец воро-

та, белоснежный, накрахмаленный. И Василий — в сером долгополом распахнутом пальто, тоже похожий на птицу,— подергивающий плечом. Ему всегда было тесно в одежде, а напяливал он на себя, отправляясь на прогулки, множество, так как не знал, куда попадет — то ли в жар, то ли в холод, и, может, не на один день,— а потому надевал и свитер, и рубашку, и пиджак... А в карманах у него помимо денег, записных книжек, карандашей всегда находились сетки-авоськи (авось да небось).

— Ты, я вижу, в маскараде,— говорил Николай, довольный сегодняшним днем, встречей с другом, всем.— И вид у тебя определенный. Не знаешь, куда и путь держишь? Пошли со мной, надо бумаги накупить, того-сего... Вот еще где бы пленки отыскать, знаешь, такой пластмассовой, прозрачной — зелень покрывать?

— Это с какой же стати тебе зелень покрывать? Что-то ты чудишь, Николенька, или неудачно шутишь... Что за чушь, какая пленка?

— Да это все с той стати, дорогой Василий Иванович, что я в деревню собирался. Слышал обо мне, что я отчасти дер-ревенский житель?

— Отчасти слышал.

— Ну так вот. И нечего усмехаться, ты ведь у нас тоже только отчасти житель городской. Можешь понять, что без подарков, причем деловых, туда не приедешь, как-то, знаешь, брат, стыдно, не ехать же с пустыми руками в деревенские пространства...

— С пустыми-то руками и на улицу не выйдешь. А ты, стало быть, решил парнички завести — огурчики, помидорчики...

— Да не я, говорю же тебе, крестьянству в подарок, соседям, знакомым... Но и я ведь не отстаю, вот в чем дело. Мысль твоя в общем верна — огородик хочу посадить. Да что говорить, поехали со мной,— вдруг предложил Николай.— Ты ведь ко мне так и не выбрался: приеду да приеду, а и нет тебя. Где пропадал всю зиму? За своей грядой?..

— Да, в деревне был.

— Вот тебе на! Зимой-то?!

— И к тебе собирался и даже отправился...

— Ну и чудак!

— Пошел на лыжах, да не дошел, испугался че-

го-то. Не зверей, не леших, а может быть, одиночества своего в тех чащобах... Наткнулся на лесную сторожку, давно, видимо, там никого не было, переночевал, а утром не решился дальше идти, обратно вернулся по своему же следу. Себя уговорил, что тебя там все равно нет.

— А меня и не было. Я зимой в деревне не живу. Морока с дровами, с едой, да и кто же поедет со мной зимой-то, а один я не люблю, ты знаешь.

Лет девять-десять назад Николай решил купить дом в деревне, чтобы было куда податься летом. Василий к тому времени уже подолгу засиживался в деревенских пространствах, под Костромой. И как-то предложил Николаю съездить к ним, может, приглянется. Но поездка не состоялась, какие-то дела задержали Николая в Москве. И после он не собрался, а получив письмо от Василия из деревни с предложением приехать, снова тянул-тянул свои городские дела и дни, а когда поехал, уже не застал Василия. Решил отправиться в сторону Чухломы и далее до Солигалича. Но поездка не пошла впрок, Николай не нашел своего места. Вернулся осунувшийся, сердитый. И, находясь в безделье: работа не шла, настроение было мерзкое,— целыми днями валялся, никуда не выходя, как будто был тяжело болен. Читал одну книгу за другой, кусками, отрывками, бросая их тут же у дивана. Приходила с работы Нина, его жена, нагруженная сумками с едой, спокойно, терпеливо кормила его и собаку Тимку, терьера, и спешила к друзьям или к матери, где жила ее сестра с мужем. Там были дети, там тоже нужна была помощь. Да, с собакой он гулял на рассвете и поздней ночью. «Ты скоро придешь?..» — спрашивал он, и в глазах у него была тоска. «Скоро, скоро»,— отвечала Нина и уходила, а когда возвращалась, он уже спал.

В один из дней он взял с полки книгу и не стал, как обычно, перелистывать, не стал бросать, все читал и читал — то «На горах», то «В лесах». Это был Мельников-Печерский, давно как будто знакомый ему, но вот... И Николай вроде проснулся. Запахло красками, появилось желание работать. Он уехал на Ветлугу, положив в рюкзак краски, бумагу, картон и Печерского. Была зима, время особое в деревенской

жизни. Пробыл Николай там недолго. Но вернулся как будто другим человеком. А на следующее за той зимой лето купил в тех местах дом.

И то, о чем они теперь с Василием говорили, бредя по бульвару, имело длинную историю. Ту далекую местность и дремучий лес, что разделял их деревенские жительства, две области, окраинные пространства, и как они не могли добраться друг к другу, хотя не раз забредали в эти урочища по малым рекам. Там был водораздел, там были болота, чащобы... Что бы еще такое придумать, чтобы найти оправдание, почему и как они не могли соединиться там, в той их жизни?

Теперь они купили бумаги и все, что нужно, двигались к «Трубе», зная оба наперед, что зайдут сейчас в мастерскую к Борису Петровичу, душевному человеку, который там и дневал и ночевал. К нему весь день, а то и ночью заходили на огонек, там и днем был огонек, потому что мастерская помещалась в подвале. И если Борис Петрович в это время работал, то гости располагались сами по себе — разговаривали, пили чай...

— Да, чувствую, куда приведет нас дорога наша,— сказал Василий, отрываясь от разговора, воспоминаний, возвращаясь в реальность.— Но давай мы с тобой погодим... Давнишний мой приятель, школьный,— может, ты помнишь? — Сережа, в садовом хозяйстве работает...

— Это ты о пленке, которой... увлекаются, увлекаются... Не найдем мы ее теперь по такому-то горячему времени нигде. А не вредно ли, как ты думаешь, под пленкой? Как это природа воспринимает, как это она реагирует на пластмассовые всевозможные укрытия?

— Вот пойдем и все узнаем.

Проплутав какое-то время по переулкам и проходным дворам, они подошли к дому в стиле модерн. Решетки, и кафель, и лилии, тут же дом переходил в пристройки, что-то такое классическое, желтое с белым, центр его был с колоннами, с балкончиком, с большими окнами. Свернули в подворотню, мимо ограды, где на остатках въездных ворот, на одной из тумб было выбито как будто навеки — «Свободен от постоя». Они прошли еще дальше, и в двухэтажном

домишке, вероятно, флигеле, как раз и размещалась та самая контора озеленения. Здесь все было чисто, размеренно — планы, карты, стук машинки... Приятель детства встретил их в своем чистом кабинете у разноцветных телефонов и взялся сразу за дело. Он вспомнил и Николая: оказывается, он купил у него одну из работ — пейзаж. Не откладывая, принялся за дело, все у него уже было приготовлено — объекты и цифры,— все, что необходимо было... Пока они с Василием разговаривали, Николай стоял у окна и наблюдал двор, примеривался глазом художника, воскрешал прошлое. Вот прошла дама в белом платье под зонтиком; там в закоулке пороли дворового мужика; тут девки ощипывали индюшку; представлял, как Поленов, сидя на скамеечке, делал набросок московского дворика... Увидел Николай и двух девиц, подмазывающих себе губы, шофера в машине, мальчишек на крыше, гоняющих голубей, кошку, затаившуюся у дерева, розовый цвет неба... А в комнате за полированным столом сидели двое мужчин. Один в распахнутом пальто, облокотившись на спинку, второй у телефонов, в отутюженном пиджаке, галстук модно завязанный. В это мгновение он встал, прошел к двери и вытащил из шкафа бутылку минеральной воды.

Потом друг детства куда-то позвонил, договорился о «пленке», после чего они сели в машину и долго куда-то ехали, как будто через всю Москву. В магазине купили, что было нужно, и снова оказались в городе, на привычных улицах. Подъехали к дому, где жил Николай, и все вместе поднялись к нему.

Нины дома не было, терьер бегал, кружил вокруг гостей, требовал еды, игры, прогулки. Николай занялся закусочным хозяйством, а Василий с Сергеем вышли с собакой во двор. Здесь у детской площадки они спустили Тимку с поводка, а сами уселись под грибок, у песочницы.

— Так вот и живем,— сказал Сергей.— А время идет, движется, бежит. Помнишь Екатерину Николаевну, нашу учительницу английского языка, ты еще был влюблен в нее... Она умерла.

— Я знаю,— ответил Василий.— Только откуда ты знаешь, что я ее любил?

— Ну как же, мы все знали. И ты, как бы тебе

это сказать... Это было хорошо, на вас было любо смотреть, что-то было такое хорошее, честное слово, никогда не забуду. Не знаю, как у других, но у меня это осталось как самое хорошее, самое чистое воспоминание о школе.

— Да,— только и сказал Василий, и они долго сидели молча.

Собака бегала, приносила то палку, то щепку, мотала головой — она хотела играть.

Василий помнил Сергея таким толстячком, с яблоком в портфеле, пугливым и застенчивым, с прыщами на лице. Подружились они в походе, тогда были в моде эдакие походы в лес, туристические маршруты с палатками и кострами. Сергея вдруг за что-то стали бить, а Василий заступился. Вот тогда они и подружились.

Но что же было потом, что это была за дружба, что за приятельство? Сергей ходил к нему домой, пил чай, брал книгу, сидел на трибунах трека, когда Василия сшибли в групповой гонке. От велосипеда остались одни рожки, а сам Василий попал в больницу. И Сергей навещал его, было так трогательно. Потом были еще какие-то случаи, какие-то вечеринки с танцами, девочки. Сергей всегда стеснялся и краснел. Прошли годы учебы, и был обрыв, они не виделись долго. Как-то неожиданно прозвучал звонок, и Сергей пригласил на свадьбу. Было торжественно, чинно, нарядно, празднично. Невеста хороша и, видимо, богата. Вот именно был праздник. И встречались, виделись они потом по праздникам или по делам. Но это уже потом. А на свадьбе от Василия ждали что-нибудь такого, особенного, экспромта, и он сказал пышную речь. Потом у Сергея родился сын, и Василия снова пригласили. Тут он тоже что-то сказал и что-то хорошее. Но что? Надо бы вспомнить...

— Ты вот моего Павлика не видел давно,— говорил школьный друг,— а он, ты знаешь, хорошо учится, как ни странно, и хочет по твоим стопам, ты у него, просто сказать, кумир!

— А как жена?

— Да вроде ничего. Мы ведь не так уж и часто видимся, вот даже в отпуск нынче врозь ездили... не получилось по графику.

— Вот как! Она что же, все в институте преподает?

— Да. Но давай не будем на эту тему.

— Поссорились?

— Нет. Знаешь, как-то пусто стало, а день за днем летит, летит... Но нам, видно, пора, что-то холодно здесь сидеть, да и у твоего друга, думаю, заждались. Хотел я с тобой поговорить, да вот что-то не получается...

— Скажите, Николай, какого вы мнения о нынешних портретистах? — спросил Сергей, когда они все сидели за столом на кухне.

— Вы хотели портрет заказать? Я очень хорошего мнения о портретистах и сам жалею, что не владею этой проникновенной техникой. Вот, скажем, фотография...

Сергей перебил его:

— Фотография от времени тускнеет, а картина поднимается в цене.

— Может быть, и так,— сказал Николай,— может существовать и такая точка зрения. Но создавать реальность очень трудно, поверьте мне, я не мастак говорить об искусстве, да и желания большого нет, но портрет — это дело особое, серьезное. Вспомните, например, Гоголя, его повесть... Как ты думаешь, Василий?

— Я думаю, что это хорошо, кстати, вспомнить, как Николай Васильевич проникновенно описывал застолье, как, например, у Пульхерии Ивановны?.. Как это? «В Малороссии как будто и воздух другой, способствующий пищеварению»...

— Это ты точно подметил,— сказал Николай,— у нас не то.

— А что же это за портрет, там вот, над самоваром, мальчик в красном свитере? Сами писали?

— Это как будто я и как будто в отрочестве моем,— ответил, улыбаясь, Николай.— А портрет писал Борис Петрович, к которому мы сегодня собирались.

Портрет был — голова вполоборота, на темно-зеленом, глубоком фоне, лицо светилось, обрамленное мазками светло-рыжих волос.

— И что вы, Сережа, стесняетесь,— все улыбал-

ся Николай,— так прямо и скажите, что вам портрет нужен. Правда, Борис Петрович более женские головки теперь предпочитает писать.

— Как кстати! Это как раз, именно это мне и нужно...

— Так в чем же дело! Звоните мне завтра, и я вас сведу. А хотите, так и прямо теперь записку напишу? Сами разыщите, будет занятие...

— Хочу.

— Вот и отлично, заказ, можно сказать!

Николай встал, подошел к буфету и на большом куске ватмана написал размашистыми буквами: «Борис Петрович, дорогой, не откажи в портретировании подателю сего». И адрес.

— Вот вам,— протянул Сергею.

Сергей спрятал лист ватмана в портфель, потом попросил разрешения позвонить. Из коридора слышно, что он звонил жене, говорил, что встретил Василия, что у них разговор и что придет он поздно. Нам сказал, отводя глаза в сторону:

— Вы уж простите, ребята, тут у меня встреча одна намечается, так я это... должен идти. Да, вижу, что и вам надо многое обговорить, собираться в такую даль, как вы мне рассказывали, не так-то просто...— все тараторил он.— А ты, Василий, не поминай лихом, и так уж, при случае, скажи, что это мы с тобой были, ну, ты понимаешь...— Он еще раз попрощался, уже надевая пальто и подхватывая свой портфель.

— Ну, дела,— сказал Николай, захлопывая дверь.— Ну, народ.

— Да и ему трудно тебя понять,— сказал Василий.— У человека свой образ мыслей.

— Нет, я не о том. Я о скрытности...

— Ну, я думаю, ты обобщаешь. Показал бы лучше свои новые работы, пока никто не пришел.

— А тебе интересно, ты еще не устал от всего этого? — сказал Николай, пристально вглядываясь в друга.

— Может быть, и устал. Да мне там, в твоих работах, видней, какой ты, можно ли с тобой ехать,— улыбнулся Василий.

— Ну что же, если ты так ставишь вопрос, то полюбопытствую тоже и я... в свое время...

Конечно, Василий не знал в точности, поедет он с Николаем или не поедет,— пока что это было лишь предположение, можно сказать даже, что почти шутка, желание, мечта, расположение к другу. К тому же он успел узнать многие подробности поездки, которые его насторожили. К тому же он сам был в работе и находился в системе определенного образа жизни, связанного с этой работой. Большая часть времени проходила за столом, где по кусочкам собирались вымышленные лица, где витало прошлое, и он, описывая действия, поступки людей, картины природы, не замечал, как уходило время. Он, кажется, не видел, что и весна проходила, она пока что его не коснулась.

Секрет поездки заключался в том, что Николай ехал не один. С ним собирался его свояк, довольно известный актер, по имени Петр. Василий знал его отчасти, по делам на студии и в театре, но совершенно не в связи с Николаем. В течение того ускользающего времени, когда они не виделись, сестра жены Николая — Елена вышла за Петра замуж. Василий еще помнил ее мужа Коленьку, эдакого беспутного паренька.

На свадьбе он у них не был, он тогда много ездил по командировкам от газет,— Николай с Ниной отъединились от родительского дома, поселились отдельно. Это значит, к тому времени уже года два прошло, потому что как-то, гуляя по улицам, он позвонил. К телефону подошла Елена, сказала, что вот он их совсем забыл, и сказала, что у нее родился сын,— пусть приходит посмотреть. Ну как было не прийти, как не взглянуть, хотя сердце вдруг защемило, беспокойство и тревога проникли в него, как будто что-то не состоялось, что-то потерял. Конечно, все было красиво и мило, и мальчик, и Елена, привлекательна была посторонняя жизнь.

А примерно через год он встретил Елену случайно на улице. Была зима, но слякотная, мрачно-грязная. Василий тогда был влюблен, и все ему виделось прекрасным, все было нипочем. И тут он встретил Елену, она брела, казалось, без цели. Он догнал ее, и они долго шли вместе. Она рассказала, что рассталась с Коленькой, что он ее мучил, истязал, что не был тем человеком, на которого можно было опе-

реться... И вот они расстались. Вначале вроде было хорошо, что она решилась на это, избавилась от муки, от слез. Но вот прошло уже больше месяца, и ей снова стало тоскливо, да еще старики ворчат, и она ничего не успевает делать, все у нее валится из рук. Елена говорила, путаясь, перебивая свои мысли, и плакала, все повторяла: «Ты понимаешь, ты понимаешь...» Он-то понимал и успокаивал, но того, что хотела она, он сделать не мог. Проводил ее тогда домой и остался до глубокого вечера.

И вот теперь она, Елена, была замужем за Петром, с которым, видимо, познакомилась на студии, а может быть, и еще где. У Петра вроде тоже неудачно складывалась жизнь. Он долгое время работал в провинциальных театрах, но наконец его заметили или, вернее, так сложилось, его пригласили в Москву, на студию, а потом и в театр. Вероятно, он проявил характер. Но вот семейная жизнь не устраивалась или устраивалась как-то странно — ушла жена, оставив ему сына. Это так просто говорить, но представьте, что за всем этим было. И вот теперь они жили вместе с Еленой, с двумя сыновьями. Елена вела хозяйство, жила при больных своих родителях. А у Петра никого из родных уже не было. Был у него сын, ходил в школу, пропадал обычно там весь день — и ел, и готовил уроки. Мало радости. А тут Елена взялась за воспитание, мальчишки подружились, им было хорошо вместе. И семья настроилась, наладилась. Вот так-то обстояли дела.

Николай с Василием сидели на кухне, разговор шел о поездке. Мысли их скользили плавно, не получая никакого сопротивления, не натыкаясь на преграды. С ними был еще один художник, Евгений, график, иллюстратор. Скромный, застенчивый здоровяк, с большими руками, с добрыми и нежными глазами. Василий впервые видел его, их представили друг другу. Николай сделал это как можно проникновенней, и они сами наговорили друг другу кучу комплиментов, так как работы друг друга знали. И тут же оказалось, что он, этот художник, прошлым летом купил дом в той деревне, где уже давно проживал Николай, и тоже собирался приехать по вес-

не, чтобы приготовить дом к летней жизни и работе, проветриться. Но в те числа, о которых говорил Николай, он не мог поехать: какой-то заказ задерживал его в Москве. Николай настойчиво собирался именно послезавтра, так они договорились с Петром, у которого был как раз перерыв в съемках. И теперь все вместе гадали и придумывали, как же быть, потому что вначале весь план был рассчитан, имея в виду машину Евгения. В нее предполагалось загрузить многое для летней жизни в деревне.

— Подождите, я что-то ничего из вашего разговора не понимаю, кто все же едет? — спросил Василий.— И что же такое есть ваша поездка?

— Ты задаешь сразу слишком много вопросов,— сказал Николай.— Я еду немедленно, на чем угодно и как угодно, потому что я больше не могу, я переработал, мне нужна передышка... Хочу поработать руками, посадить картошку, то да се... Ну и завезти красок, холстов... Вот я и рассчитывал на этого человека, которому, видите ли, дела мешают, вдруг он о них вспомнил! А о чем думал раньше, когда договаривались?

— Но я приеду потом, следом за вами, со всем скарбом,— обещал Евгений.— Мне-то самому не справиться с домом.

— Ну вот, еще одно дитя,— сказал Николай.— Хитер, хитер...

— Я-то пока в стороне. Ты на меня не кивай,— говорил Василий.— Я ничего не решил. Кто еще едет? Давайте уж все до конца.

Николай усмехнулся:

— Вот и скажу. Как один брат обрел другого.

— Так что же, Василий ничего не знает? — удивился Евгений.— А мы-то тут говорим, а мы-то тут раскручиваем...

— А все потому, что оторвался, оторвался наш Василий, редко показывается на людях,— упрекнул Николай.

— Нет, ты все же расскажи!..

— Моего свояка ты знаешь, мужа нашей Елены. Человек он известный, в театре играет, во многих телевизионных передачах участвует... Я хочу рассказать, собственно, о братьях. Жил Петр, жил, ни о чем таком и не подозревал. Жил, что называется, в ис-

кусстве, как серый волк, а тут вдруг раз — Елена,— и так это у них вдруг хорошо наладилось, по-семейному, да... А тут неожиданно брат появился. У него ведь никогошеньки на целом белом свете. И вдруг — брат. Двоюродный, конечно, по отцам братья. Они и сами еще не во всем разобрались...

— Как же это так? — спросил Василий.— Что это ты мне рассказываешь?

— Ты не сердись, не волнуйся, так оно и есть. Этот Павел, двоюродный-то брат, из дипломатической семьи, долгое время работал за границей по экономической или торговой части. Теперь приехал в Москву, по телевизору увидел брата, прочитал фамилию его в титрах. Как азарт, что ли, это, ну поначалу-то, или, может, уже сразу — тоска, предчувствие по родному, близкому... Вот они-то и собираются ехать со мной, провести вместе неделю, порыбачить. Не знаю уж, какая теперь рыбалка будет, со сроками-то мы опаздываем. Пока они отпуск вместе подгадывали, пока мы вот Евгения уламывали, время ушло, теперь и не знаю, что делать.

Василий гладил собаку, она вертелась возле ног его, но вдруг сорвалась и бросилась в коридор — там хлопнула дверь. Появилась Нина, и не одна, с ней пришли женщина и девочка лет шести.

— О, у нас гость, да какой! — заметила она Василия.— Ну так вот и я с гостьей,— говорила она, раздеваясь.— Была у мамы, ну, там все приветы передают, а Павел спрашивает, что с поездкой, что с транспортом... Ну вот, встретила Танечку. Она тоже, как и ты, Василий, куда-то пропадает, не показывается, говорит, гуляю с дочерью. Привела ее. Я сейчас вам поесть приготовлю, а то вижу, сидите как на вокзале...

Пока Таня рассказывала о чем-то своем, наболевшем, но прикрытом светским щебетаньем, Василий с девочкой рассматривали камни из коллекции Николая. Он ей объяснял названия, а она вспоминала, как этим летом с мамой в Крыму под Феодосией они нашли череп чайки. Их разговору мешала собака: пыталась играть с ними, пряталась под кровать, под кресла, тянула поводок и терзала мяч. Василия звали к столу, к общему разговору. Но ему было тягостно, хотелось уединиться. И он шепотом сказал Ни-

колаю, что хотел бы выйти на воздух, что, мол, и девочке не совсем хорошо присутствовать при разговорах взрослых, да и собаке надо погулять... Николай понимающе кивнул: конечно, пусть идет, а они тут о нем посудачат...

Василий, девочка и собака пришли на детскую площадку. Откуда-то появились мальчишки, пытались затеять игру с собакой, но Настя — так звали девочку — была строгая, взяла собаку на поводок, изображая и всем видом показывая, что это ее собака и что она не привыкла к чужим.

— А у тебя есть собака? — спросила она, когда мальчишки отстали.

— Была у меня собака, да она умерла,— говорил он, думая о своей жизни, о своих днях, прожитых в одиночестве,— они ведь недолго живут, Настенька, десять лет проскочило, я и не заметил.

— Это как будто я,— сказала девочка,— мне ведь тоже скоро столько станет. А папы у меня нет.

Василий знал об этом. Он помнил, как когда-то давным-давно, когда еще не было на свете Настеньки, провожал Татьяну домой из шумных гостей, именин, которые устраивала Елена, и хотел ее поцеловать, но вместо этого опустился на колено. Она засмущалась и убежала вверх по лестнице, он так и не сказал то, что хотел. И теперь он думал, что если бы тогда он сказал заветное и она бы что-то ответила, то их жизнь могла быть совсем другой.

Они с Настей бродили дворами, переходя из одного в другой арками. Между строениями, нагромождениями разных эпох вдруг попадался старинный особняк с колоннами, который соседствовал с ремонтной конторой, с вагончиками на колесах. Вставала громада доходного дома начала века в стиле модерн, скрывала небо, сдавливала пространство. Василий любил этот город, эти переулки, дворы, мешанину строений, где так явно одновременно соседствовали все времена этого тысячеликого города.

— Так у тебя что же, никого нет? Совсем никого? — спрашивала девочка.

— Как тебе сказать?.. — он смотрел на ее лицо, подмечая в нем черты Татьяны.

— Мы сейчас вернемся,— говорила она,— потому что я немного устала и мне есть захотелось. Ну и,

конечно, мама сказала, чтобы мы недолго гуляли. Нам домой пора, там дедушка и бабушка, и мне спать рано ложиться, и еще разное... Мы все время ходим пешком.— Она как будто торопилась выговориться, прежде чем они вернутся.— Я тебе все это рассказываю, потому что ты мне очень понравился, и я хочу, чтобы ты проводил нас домой, зашел ко мне. Я тебе что-то покажу, сейчас не буду говорить что. Ты ведь пойдешь с нами, правда? Тебе не надо торопиться, тебя никто не ждет? У тебя ведь даже собаки нет... У меня тоже нет собаки, дедушка не разрешает, но у нас есть птички. Но это совсем другое, ты знаешь, я даже боюсь их... Пойдем скорей, а то мама, пожалуй, станет волноваться, нас так долго не было. Ты обязательно должен проводить нас, ты обязательно с нами должен пойти...

Она еще что-то говорила, но он изо всех сил пытался ее больше не слушать, только кивал головой и смотрел ей в глаза. Он не мог больше слышать всего этого, потому что у него сердце разрывалось, потому что он хотел заплакать вместе с ней, обнять ее, прижать к себе и больше не отпускать...

Когда они вернулись, в доме было шумно, весело, во всяком случае все смеялись и их не сразу заметили. Потом как-то все притихли. Татьяна сказала, что они уже долго засиделись, им пора собираться домой, им еще далеко идти. Она вдруг как-то взъерошилась, заполошилась. Василию сказали, что уже перезвонились с братьями, дело решено окончательно — завтра надо непременно ехать в деревню, и что без него поездка не состоится, и что он не имеет права подводить людей...

Он все слышал как бы издалека, понимая и чувствуя, что вот они, его друзья, его жизнь. Он как бы со стороны слышал, как течет его жизнь. Девочка сидела у него на коленях, и они вместе что-то ели, и улыбались, и смотрели друг на друга.

А потом Татьяна все же собралась уходить, девочка держалась за его куртку, не отпускала его:

— Он с нами пойдет, он мне обещал, ему тоже надо уходить, он нас должен проводить.

И Василий кивал и улыбался, прощался со всеми.

— Ну что же,— говорил Николай,— прощаюсь до завтра. Только ты не забудь — едем завтра. Или я

тебе позвоню попозже, или ты сам, как придешь домой, в любое время, или приходи сразу, как соберешься. Я ведь все равно сегодня спать не лягу, не засну. Все буду перебирать да перекладывать, а уж в поезде и высплюсь. Ты же знаешь меня, я перед дорогой нервный...— И еще что-то говорил и все как-то косился на Татьяну, на девочку.

Они распрощались со всеми и вышли. Долгое время шли молча, то есть они, наверное, вспоминали об одном и том же. Пауза затягивалась. Правда, Настенька не умолкала, говорила о дороге, о попадающихся домах, предметах и людях и спрашивала, и так доверчиво она держалась за его руку, что он успокоился и подумал: все же он правильно сделал, что пошел с ними.

— Мы всегда так ходим,— говорила девочка,— мы теперь много гуляем, по скверам и садам, по галереям, где развешаны картины, и там смотрим людей и разные сцены... А вчера мы попали в пустой дом, там никого не было, всех уже выселили. Там бегали человечки, и я играла с ними. Мне не было страшно. Мама меня искала, а потом нашла...

— Это Настя все придумывает,— откликнулась наконец Татьяна.— Она любит говорить, развлекать, чтобы всем было весело. А ты все путешествуешь, в бегах да разъездах?

— Да,— отозвался он, хотел добавить, что все понимает, что у нее чудесная дочь. Но сдержался. Стал рассказывать, как он прожил зиму в деревне, как там было хорошо, какие там чудесные и заботливые люди...

Татьяна улыбалась, она была благодарна ему за то, что он весело рассказывает, и дочь ее так заинтересована, все спрашивает: «А ты и печку сам топил? и ловил зимой на льду рыбу? и там, наверное, очень, очень много снега?»

— Я никогда не была в деревне зимой,— сказала Настя.— Ты меня когда-нибудь возьмешь с собой, когда поедешь, правда?

— Конечно, возьму,— говорил Василий.— Когда-нибудь, если сам поеду. Если ничего не случится... Если вдруг что-нибудь не произойдет... Ты понимаешь, вот мы с тобой вдруг встретились и познакоми-

лись, мы с тобой идем вместе и разговариваем, нам всем хорошо...

— Да. Но ты обязательно должен зайти к нам.

Он и не заметил, что они так много уже прошли, так, держась за руки. За станцией метро был их дом, он хорошо это помнил, как будто не годы прошли, пролетели, а было только вчера.

— Сейчас уже поздно,— сказал Василий.— И все должна решить мама, ты же знаешь.— Он понимал, что не то говорит, что нельзя было так распускаться, так раскрыть все свои чувства, в радости, веселье утопить свою боль и тоску, чтобы потом оставить девочку, оставить Татьяну.

«Но так ли это? — тут же думал он.— Нам хорошо, так почему мы, взрослые, должны сдерживаться и думать, что будет дальше, что случится потом, когда-нибудь, так ничего и не сделать теперь».

Он сказал:

— Мы вместе попросим у мамы, чтобы она разрешила.

А Татьяна улыбалась. Она как будто прислушивалась к тому, о чем он думал, всматривалась в его лицо. Они уже были совсем рядом, вошли во двор, прошли вдоль теннисных кортов и детской площадки. Настя все придумывала что-то, все щебетала. Вот уже был подъезд. И так они друг на друга посмотрели — Татьяна и Василий. Но девочка ничего не знала, она тянула его за руку, все объясняла и говорила, что сейчас он пусть не боится ни дедушки, ни бабушки (они, наверное, уже спать легли), но она все равно их разбудит и познакомит. А потом они будут пить чай, она ведь тоже очень проголодалась с дороги, и она покажет свои игрушки.

Когда вошли в квартиру, Настя тут же потащила Василия в комнату к дедушке и бабушке. Они смотрели телевизор — спортивное обозрение — и были, конечно, удивлены, смущены, как и Василий. Он им пожелал спокойной ночи и как-то невпопад и сбивчиво сказал, что уже поздно, что он проводил Татьяну с Настей. А потом они пили чай на кухне. Татьяна суетилась, что-то прибирала, рассовывала по углам, а Настя все вносила кукол и показывала свою комнату, где она спит, где спит мама, и ему тоже найдется место. В комнате тихо-тихо. Она сказала, при-

гнув его голову: «Может быть, ты когда-нибудь согласишься стать моим папой?» И сама испугалась этих слов.

Василий потрогал ее лоб, потому что девочка горела вся. «Неужели все это накрепко остается?» — думал он. Конечно, она его не отпускала, и были слезы. Но потом успокоилась, потому что они договорились, что когда он вернется из деревни, сразу же придет к ней.

Поезд отходил утром. Василий так и не заснул. Под утро позвонил Николай. Это уже когда Василий собирался. Не слишком торопясь, он походил по квартире, открыл чемодан и долго перекладывал вещи с места на место. Наконец оставил это пустое занятие, быстро насовал в сумку теплое белье, свитер, пару чистых тетрадей, носки шерстяные, кусок мыла, щетку, пасту и вывалил из холодильника продукты, заготовленные на неделю. На себя надел все то же, в чем был вчера днем, сменил только белье, ботинки переменил на сапоги, тщательно намотав портянки. Потом, уже одетый, открыл балконную дверь, сделал еще круг по квартире и вышел.

Весь путь до Николая проделал пешком, наверное, около десяти километров. Видел, как солнце поднималось над городом и как тени уходили. Николай возился с рюкзаками, громадными, как будто надутыми, и еще какие-то узлы были тут же перетянуты ремнями.

— Вот и хорошо,— откликнулся Николай,— вот и молодец, давай помогай. Вот это мы на себя, а это в руки... Сейчас Евгений должен приехать, он и подкинет нас до вокзала, ну а там уж как-нибудь сами. Наши-то братья налегке, удочки, то да се... Да ты что же весь мокрый? Бежал, за тобой кто-нибудь гнался?

— Я шел пешком.

— Ну и хорошо. Вот этот узел перетянем, и все готово. Они нас там будут ждать, на вокзале. А Нина пошла с собачкой гулять. Не люблю, когда женщина вмешивается в сборы...

Он был возбужден, лицо его светилось радостью. И так это было хорошо — смотреть на него, что и Василий, заразившись его состоянием, разулыбался...

Когда пришла Нина с собакой, то застала двух смеющихся во весь голос мужчин, похожих на детей.

— Я понимаю, вы так рады,— говорила она,— но меня-то хоть пожалейте,— а сама смеялась вместе с ними.

Потом приехал Евгений. Они загрузили машину и снова балагурили, и Евгений сказал, что это великолепно, что он так рад, как будто сам едет, и непременно приедет следом.

Поезд уже стоял, как говорится, под парами. Но, конечно, никакого пара и в помине не было, никакого паровоза их детства, только от вагона-ресторана поднимался дымок. Людей собралось много у вагонов, но ни Петра, ни Павла не было, Николай и Василий все загрузили в купе, такое чистенькое, хорошенькое, на четверых; и хотя билеты были у Петра, а его самого еще не было, проводница поверила, приняла их — так уж все было основательно и такие Нина с Евгением были представительные и внушающие доверие. Наконец хлопоты кончились, и они вышли на перрон.

— Ну что же, где ваши попутчики? — Нина начинала волноваться, находясь уже в том нервном состоянии расставания, когда и слова все сказаны, и что-то надо делать, а дел никаких нет.— Я же, ты знаешь, не люблю провожать. А кто это любит? Я думала, они уже здесь, а их все нет и нет...

— Будут, куда им деться,— успокаивал ее Николай, как бы извиняясь, что вот он уезжает, а она остается.

И тут на перроне появился Петр, быстро шествуя с двумя сумками в руках. Но не торопился, не бежал, как они только что, а плавно скользил, как будто плыл. Подошел, чинно раскланялся со всеми, сказал, что Павел идет следом, покупает в киоске газеты. Порылся в карманах, достал билеты и протянул их проводнице. Она его тут же узнала, известного актера, засмущалась, покраснела. Девушка, чего уж там...

Одет он был по-спортивному, прогулочно, как будто играл роль юноши. Но лицо выдавало его, холеное, уверенное, большое, красивое. Петр был готов к тому, что его узнают и что он нравится.

— Да что это вы? — сказал Петр.— Что это вы на

меня смотрите? Нечего волноваться. Да и времени еще осталось,— он посмотрел на часы,— вполне осталось, и Павел никуда не денется. Он точен и пунктуален, могу вас заверить. Да вот и сам он. Видите? Такой респектабельный!

Да, это приближался действительно уверенный в себе человек, таким его делали стать, походка. Ну, казалось бы, яловые сапоги. Но они по-особому были смяты, по ноге его большой, привыкшей ступать спокойно, уверенно и быстро. Он шел прямо, не сгибаясь, но и не выпячивая грудь. Руки его, в меру длинные, плавно скользили, как будто держали что-то, как будто производили какую-то работу.

Мне кажется, что путь к цели может быть так же интересен, как и сама цель. Тут складывается каламбур, и возникает масса вопросов... Но все же начнем. Итак — они сели в купе. Поезд тронулся, а они продолжали сидеть. Василий с Николаем на одной лавке, а Павел с Петром на противоположной. Пока они не знали, с чего начать, что предпринять, потому что все осознали вдруг, что путешествие началось. Каждый думал: с чего бы начать, что бы такое выкинуть, чтобы запомнилось это начало и вспомнилось потом. Они искали подходы друг к другу.

А в это время из прохода к дверям приблизилась проводница. Было время ей выходить на «сцену»: раскладывать билеты, брать деньги за белье. Она преобразилась с тех пор, как стояла на перроне. Теперь на лацканах куртки лежал белоснежный воротник, волосы вились локонами, губы подкрашены, на носу трогательно белел явный след пудры. Но в руках ее было что-то совершенно невероятное, противоестественное — раскрашенный и отдающий глянцем портрет Петра.

— Как вас звать, незнакомка? — тут же спросил, предупредил, но почтительно, робко Николай. Он хотел опередить и каким-то образом сгладить следующую, накатывающую лавиной сцену, от которой, казалось, было уже невозможно увильнуть, не впасть в неловкость...

— Людмила,— сказала девушка, отчего и сквозь пудру бросился румянец. Просто катастрофа, а не девушка.

— Должен вам сказать, Людмила,— заторопился Николай,— то, что вы делаете, и то, как вы делаете,— это с ума сойти... Только не смущайте Петра Игнатьевича, потому что он стеснительный. Я хочу попросить... Да, как бы так устроить, конечно, с согласия Петра Игнатьевича,— и Николай посмотрел на него, улыбаясь,— чтобы вы нас закрыли, что ли, не в буквальном, а как тему, как серию, как представление. Может быть, я что-то не то говорю? — Николай обратился к Петру.

Вопрос был каверзный, и Петр промолчал.

— Да я же все понимаю,— сказала Людмила, словно в раздумье.— Вы такие смешные, надо же. Никто вам мешать и не будет, я уж всех предупредила...

Любовь и сострадание соседствовали в ее голосе. А что же может быть лучше этих качеств, встреченных в самом начале путешествия! Это был знак.

— Куда же вы! — сказал было Василий, но смолк. Потому что Людмила-проводница лукаво приложила палец к губам. И дверь закрылась, щелкнув. И тут сразу как-то грустно сделалось всем.

Петр, с серьезным видом, достал книгу, очки и стал читать. Но быстро оставил это занятие — его явно тяготила повисшая тишина.

— Но я же не виноват,— сказал он.— Что я мог поделать! Что я мог сказать? Что я должен был сделать?

— Да нет, ничего особенного не случилось,— сказал робко и медленно Николай, сдерживая улыбку.

— Ты должен был задержать эту девушку,— сказал Павел, тоже сохраняя серьезность.— Не знаю, каким образом, но надо было сказать ей несколько очень хороших слов.

Павел вытащил из глубокого кармана своей куртки дорожные шахматы и молча принялся расставлять фигуры.

Василий с Николаем вышли в тамбур покурить, оставив братьев наедине.

— Если и дальше будет так продолжаться,— сказал Василий,— мы не пропадем...

— Это как же? Что ты имеешь в виду?..

— Значит, везде и всюду мы будем окружены прекрасными девушками, нам будут открыты все входы

и выходы, на нас теперь проба приятелей Петра... Если и не золотая, то серебряная точно.

— Ну и шутник! — ответил ему в тон Николай.— А я подумал, тебя стала раздражать компания...

— Меня? Да ты с ума сошел, никогда мне не было так весело. И я с надеждой думаю о компании, о том, что нам предстоит. Обычно, ты знаешь, ожидание, оно утомительно, а тут... Только вот о чем хочу спросить тебя: что это Петя так пристально на меня смотрит?

— Может, тебе показалось? — Николай явно уходил от вопроса.

— Ну хорошо, давай переменим тему. Я, ты знаешь, люблю присматриваться к людям, люблю сталкивать их, чуть-чуть тормошить... Скажу тебе, что Павел произвел на меня впечатление. Сильный и умеет держать себя в руках. Как бы он твоего Петеньку не подмял. Но, думаю, Петя станет только крепче, да и впечатлений наберется от такого общения. Души, способные чувствовать, встречаешь все реже и реже, а число образованных людей все увеличивается... Отвлекся, но к чему и веду...

— Это ты о своем будущем фильме печешься? — прервал Николай.— Тебе хочется, чтобы Петр получше сыграл, что ли... То, что ты еще как следует не написал... Когда начнутся съемки? Предполагаются в Костроме, а? И ты поедешь?

— Многовато вопросов! Как-то вы стали подозрительны с годами, как-то боитесь, как бы чего-нибудь не приключилось, чего не придумано заранее... Я не знаю, может, мы и не поладим с Петром. Ну и что! Потом помиримся, и каждый что-то приобретет, и, может быть, очень существенное... Я ничего не знаю. Я еду с тобой. Хочу побыть с тобой, посмотреть, как ты живешь, и, конечно, понаблюдаю за братьями, куда же тут деться! Или ты предложишь что-нибудь другое? Что-нибудь почитать! Поиграть в теннис! Кстати, у тебя, наверное, собралась там приличная библиотека, и всякие там письма, земельные акты, прошения, постановления?..

— Найдется,— сказал Николай,— как не найтись! И тебе будет что наблюдать — у меня там такие приятели и такие приятельницы, что только держись!

— Самое удивительное, что мы как будто собрались отдохнуть. Как это?.. «Исхоженные ногами тро-

пы соединяли его деревни...» Я слышал, братья были на войне?

— Но мы-то не были, до нас еще очередь не дошла...

Они стояли у окна, смотрели на мелькающие полустанки. Вот и Абрамцево промелькнуло, где там, за лесом, почти безвыездно жил их друг — Савелий и где однажды они встречали один из тех Новых годов. Не звенигородский, а абрамцевский... Они помнили о нем, значит, он не совсем ушел... Они тогда бегали по снегу, топили баню, говорили глупости, мечтали о будущем. И за этим молчаливым воспоминанием пришло совсем другое, совсем давнее — первая совместная поездка в пору юности...

Тогда впервые появились мысли о своем месте, о своей деревне, хотя бы на лето... Их, щурят, вместе послали в командировку. Они были решительны, не верили в то, что им могут отказать. И эта их уверенность сделала свое дело. Они поехали на Мариинские каналы. Они примерно представляли, что это значит. Но не представляли, с чем и с кем столкнутся... Они погрузились во времена молодости своих отцов. Люди, что окружали их там, были до того трогательны, что хотелось плакать. Искренность, неискушенная хитрость, чувствительность были той силы и того свойства, как в сказках, как в легендах, как в былинах. Такого они еще никогда не встречали, не встретили и потом...

— И голубизна в глазах, конечно, поразительна... Тут-то у меня все черненькие,— улыбнулся Николай.— Я ведь тогда еще не привык к путешествиям, двор на Басманной, где я все и о всех знал и обо мне знали. Да летом Ока под Тарусой, и там все было просто, ясно. А тут...

— Конечно, помню.

— Но потом было не до улыбок, умиления, правда? — сказал Николай.— Помнишь, как на барже плыли по протокам и шлюзовались в деревянных колодцах, как бродили по лесным топям... Боже мой, надо же... А потом вышли у Вытегры, и ноги нас не держали, укачало нас изрядно, мы с трудом одолели деревянные настилы. Но все же забрели на танцевальную площадку. Помню, как нас лихо поколотили, при-

шельцев, а потом, объявив мир, рассказывали нам всякие небылицы...

— Мы с тобой заняты воспоминанием,— прервал друга Василий,— а что там у них?

— Может быть, как ты сказал, сталкиваются?.. Ты вот лучше расскажи, чем теперь живешь... чем дышишь?..

— Успеется... Теперь мы друг от друга никуда не денемся.

— И то правда, еще наговоримся. Я к тому, что пора нам и возвращаться в купе, а то получается какое-то длительное отсутствие. Да и ноги, скажу тебе, не держат меня, в движении, как ты знаешь, укачивает... А вот в лодке почему-то нет, когда сам гребу. Ботики называются, долбленки, из целого куска дерева. Гавайские острова, Самоа... В таких не плавал сам-то, батюшка, нет, не плавал? Вот увидишь, как это славно...

Когда они вошли, постучавшись,— как будто дверь туго открывалась,— застали братьев не в воспоминаниях, не в беседе. Они не расхаживали — да тут и расхаживать было негде,— и не сидели друг перед другом, вперившись брат в брата, и не рядом, и не в обнимку. Они застали Петра, лежащего в блаженстве, улыбающегося, а рядом с ним, у ног его, сидел Павел и читал вслух газетные объявления из приложения к «Вечерней Москве». Читал приятным низким голосом, чуть даже нараспев, не торопясь. Роговые очки еще больше подчеркивали его достоинство и усердие и в то же время некоторую снисходительность. Улыбка бродила по его лицу:

— ...у населения следующие вещи: пенсне, часы карманные на цепочке, веер, папиросницу-портсигар... И еще, для работников театра снимут отдельные квартиры в центре... Что значит — отдельные? Ну хорошо. А вот — складское помещение. Организация арендует, желательно с хозяйственным двором...

Павел прервал на мгновение чтение и затем, пригласив Николая и Василия садиться, продолжал все тем же голосом:

— ...организация продает кресла зрительного зала, бывшие в употреблении...

— Достаточно! — откликнулся Петр.

— Хорошо, как угодно. Так.— Павел аккуратно пе-

реложил страницы и сложил всю газету в колонку.— Что же хочешь, продать или купить?

— Хочу продать.

— Какая строка сверху?

— Это они играют,— догадался Николай.— Я тоже хочу.

— Не мешай,— откликнулся Петр, приоткрывая один глаз,— вы опоздали на игру, ставки сделаны. Понаблюдайте лучше, чтобы мы Лавру не проехали, хочется посмотреть.— И снова закрыл глаза.— Седьмая строка сверху.

— Пожалуйста! — отозвался, чуть подумав, Павел.— Старинный веер слоновой кости, из города Кантона, девятнадцатый век.

— Хм... А что вы можете предложить взамен? В обмен? Смотри в графе «куплю» — тринадцатая строка сверху.

— Так-так... Домик в деревне или дачу. Ну и хитер! Это за веер-то!

— Но из Кантона,— промурлыкал Петр.— Тургенев там был... Так, домик в деревне, неплохо... Пожалуйста, ты теперь продаешь — десятая сверху.

— Дачу...

— Да? И дачу продаешь? Ну, вот видишь, а я что говорил! Я так и говорил. Зачем тебе дача, ты в деревню едешь. А я тебе взамен, у меня, брат, все взамен — двадцатая снизу.

— Двадцатая? Это не совсем хорошо, но довольно остроумно. Так-так, двадцатая — неисправную импортную стереосистему «Хи-Фи». Ну ты ловкач! Два дома у меня купил за веер и «Хи-Фи».

— А зачем тебе два дома? У тебя семья небольшая, ты да жена, дочь замужем. Это мне надо бы...

— Прекрати.

— Вот именно. Пожалуйста, дальше, ваш ход.

— Хорошо,— сказал Павел.— Часть дачи — на дом в деревне. В придачу прошу грушевую спальню девятнадцатого века, люстру и сундук. Там еще у вас стиральная машина, но я ее выброшу, не люблю шума.

— Откуда же в деревне грушевая спальня? Это уже усадьба, а не деревня... И откуда у тебя еще часть дачи?..

— А не пора ли нам выйти? — сказал Петр, при-

поднимаясь,— размяться, получить благословение небес да на боковую...

— Увиливаешь,— Павел снял очки.— Хитер...

Лес стал раздвигаться от колеи, вот-вот должен был показаться Загорск. Они все вышли из купе в проход. И как раз в это время появилась река, первая зелень в ивах вдоль оврага, и вот блеснули в лучах солнца золото и синь небесная. Открылось как бы чудо.

И так они стояли долго, уже исчезли купола соборов, колокольня... Кругом снова были поля, лес...

Что же было дальше?.. О чем они думали?

— Вот река еще не спит,— сказал Петр, когда они вернулись в купе.— Еще бурлит и клокочет. Рыбы, я думаю, будет много.

— Река, конечно, она не спит,— заметил Николай, взбираясь на верхнюю полку,— а вам очень даже пора вздремнуть. У нас завтра день не из легких. Мы тут с Василием договорились, что будем наверху, а вам — нижние полки.

— Нет, так дело не пойдет,— не согласился Павел.— Я люблю наверху, если, конечно, я никому не помешаю, если никто специально не жаждет верхней полки.

— Ну что же,— оживился Петр,— наконец-то у нас и происшествие, столкновение сторон. А вы говорите, в поезде не бывает происшествий...

— Кто такое мог сказать! — Василий старался говорить серьезно.— Да знаете ли вы, Лоренс Стерн или Карамзин так бы расписали наши дорожные мелочи, что уже бы составилась целая книга характеров.

— А вы? — спросил Павел.

Но Василий не отозвался, и разговор сам собой стих.

И вот наступило это серое утро. Николай проснулся задолго до остановки,— а может, он и не спал? — разбудил Василия. Они вытащили узлы, рюкзаки и сумки в тамбур. Поезд в Шарье стоял всего несколько минут, и надо было успеть все сделать вовремя. Поднялись и Петр с Павлом и тоже принялись помогать, и когда поезд остановился, спускали вещи вниз, на утоптанную землю, а Николай с Василием подхватывали.

Здание вокзала казалось уютным, еще стародавнее, с обширными деревянными скамьями, стены выкрашены под трафарет, цветами, висели натюрморты.

Через вокзал они вышли на пустынную площадь. Было тихо, безлюдно, но, как во всех маленьких городах, прилегающих к железной дороге, здесь уже началась утренняя жизнь. Зримых примет весны как будто еще не замечалось, но воздух был упоителен своей прохладой и чистотой. Они были бодры, крепки, в меру веселы, как и полагалось таким ранним утром, с ощущением надежды, что светит нам, пока мы живы. Сказывалась привычка городской жизни, городского делового утра. Они знали, что еще предстоит путь неблизкий. «Хорошо бы управиться засветло»,— думал Николай, который, конечно, достаточно знал здешние порядки и случайности. Он куда-то бегал, что-то узнавал, наконец явился довольно успокоенный. Пароход еще ходил, корабль еще скользил по водам: но этот был последним, вода быстро убывала.

— Сейчас придет такси,— говорил он,— погрузимся, отвезем все на пристань, и тогда я буду спокоен.

Все молча приняли его решение. Как раз в это мгновение на площадь уже выруливала машина.

— Оказывается, мы еще не совсем отрезаны от цивилизации? — сказал Петр.— Работает телефон, появляется такси...

Николай мельком на них посмотрел. Но говорить ничего не стал.

Водитель такси был, конечно, знакомым Николая. Он улыбался, с уважением и пониманием поглядывал на всех, помог загрузить вещи в багажник.

— Это дело, это дело,— все повторял он.— Запастись никогда не мешает. И продуктами и материалами. Профессия ваша хлопотная, столько всяческих приспособлений...— говорил он и, оглядев всех, добавил: — С друзьями — это хорошо! Тоже художники, из одного как бы цеха?

— Да,— откликнулся Николай,— вот именно, из одного цеха, Михаил Михайлович, вы сразу догадались,— и взглянул на Петра. Тот сник: его не узнали.— Стараниями Михаила Михайловича,— продолжал Николай,— и его друзей многое сделано в моей здешней жизни, да иначе, наверное, я бы не так и

любил эту местность, не будь здесь таких людей. А вы еще не слышали, как здесь поют...

— Это есть,— сказал Михаил Михайлович, и его лицо покрылось румянцем.— Этого не отнимешь. И кто же, живя на реке, не поет? Правда, река наша Ветлуга — небольшая, но красавица, с норовом. Теперь разлилась, а летом — все песок, да дубовые рощи, да сосновые боры... И вьется, играет чистая вода... Так что же,— заметил, что все слушают его,— потихонечку, не торопясь, и двинемся. Времени-то у нас еще много. Я думаю так — часа через три-четыре, не раньше, появится наш стремительный экипаж. В последний раз пройдет по реке, промчится и станет до осени. В самую-то вы пору, конечно, можно было бы пораньше...— и не стал развивать тему, сказал только, что рыбы в этом году было немного, куда-то она вся подевалась.

В дороге Михаил Михайлович продолжал говорить, не переставая: об огороде, цветах, рыбной ловле, зимней охоте на лис, но все время поглядывал на Николая. Его ровный голос убаюкивал:

— Все мы надеемся, все уповаем, а без этого и радость не в радость, и грусть холодна и безвкусна...

— А как тут с рынком? — неожиданно спросил Петр.

— Это с базаром-то? Да как с ним, ничего, как всегда. Вот мы вещички доставим, и я вас подвезу, как раз к открытию, посмотрите сами. Конечно, любопытно — день базарный, воскресенье.

— Да, сегодня же воскресенье! — радостно согласился Петр.

Ехали по утренним, еще пустынным улицам, городок был чист, уютен: наличники на окнах, резьба по карнизам, кое-где попадались резные русалки, фараонки, солнце и луна... И само солнце уже поднималось над городом, пока они ехали, минуя товарные склады, к дебаркадеру — эдакому сколоченному плоту с висящими по бортам рваными покрышками.

На досках сидел старик в тулупе и валенках с глубокими галошами. Увидел приближающуюся машину, не торопясь приподнялся, поправил на голове шапку-треух, подобрав под нее жидкие свои волосы.

— Раненько прибыли, никого еще и нету,— здороваясь, сообщил он.

— Ну вот и будете первыми,— откликнулся Михаил Михайлович.— Народу-то наладится, ой! Ты уж, Иван Алексеевич, поспособствуй нашим гостям, присмотри за вещами, а то они вот хотят еще на базар успеть. Так я говорю, Николай Сергеевич?

Николай кивнул, поздоровался со стариком.

— А я тебя, батюшка, и не признал сразу, думаю, кто это такой подъезжает. Богатым будешь.

— Буду,— улыбнулся Николай.

Разгрузились. Подошли к реке, она уже значительно отошла от прежнего своего берега, и особенно за эту ночь; были видны бревна, щепка в пене — все, что река оставила на берегу за эту ночь.

— Да у тебя тут все знакомцы,— сказал тихо Павел.

— Приятели, друзья,— так же тихо ответил Николай.— Ему, может, хотелось меня не сразу узнать... А все равно признал сразу, вспомнил. Ну что, поедем на базар? За снасти и все прочее не беспокойтесь...

— Да я и не беспокоюсь,— Павел явно горячился.— С чего бы! А вот что это ты помрачнел?

— Я не мрачный, я напряженный,— ответил, чуть улыбнувшись, Николай, взглянув при этом на Василия, тот сидел на корточках у воды и о чем-то беседовал со стариком.— Я хочу, чтобы было хорошо, а мне все кажется, что вам неловко, неуютно. Как будто я что-то не так делаю.

— Э, не годится,— сказал Павел,— совсем никуда... не пойдет... если ты так думать будешь... Дело не пойдет. Не годится,— Павел улыбался.— Должны же мы и поссориться и помириться, и смех будет тогда сладостней, как это заметил вот Михаил Михайлович, и жизнь прекрасней. Не думай о нас. Или, может быть, Петя что-нибудь сказал тебе?

— Ничего он не говорил. Я и сам не знаю, что со мной, никогда такого не было...

— Поступай, как сам знаешь. Ты художник, артист! Мы уж подладимся. А то еще и побьем все вместе! Мне, во всяком случае, нравится здесь, потому что встретил хороших людей. А это ведь редкость теперь, Николай. Ты даже и не представляешь, какая это теперь редкость...

К ним приближались Петр с Михаилом Михайловичем.

— Ну что же,— обрадованно заговорил Петр, когда они подошли,— я так думаю, что-то такое надо совершить... с приездом к этой прекрасной реке. Прекрасна река, и утро божественно.

— Непременно надо,— поддержал его Михаил Михайлович.— А то что же так... Со встречей, а как же! Я вот предлагаю вам всем поехать ко мне, щей бы откушали, согрелись...

— Мысль дельная,— откликнулся Николай,— и спасибо тебе большое, Михаил Михайлович, за приглашение. Нашим-то новичкам хотелось бы город посмотреть, на базаре прицениться. Так что спасибо, в другой раз. Идите все к реке, я сейчас достану еду...

Все встали полукругом у воды, смотрели на реку. Она не бурлила, весенняя сила завершилась в ней. Старик был доволен, что его уважали, что он был в компании. Он приосанился, встрепенулся весь от незначительной, казалось бы, встречи и разговора. Обещал непременно задержать пароход, если они будут запаздывать.

По дороге к базару все же заехали к Михаилу Михайловичу, он хотел передать Петру необыкновенных самодельных блесен и крючков,— без такого, сказал, и ехать глупо. День уже был в разгаре, когда наши герои оказались у рыночной площади. Здесь, собственно, и была вся суть старого города — и неизменная каланча, и лабазы, и несколько зданий красного кирпича...

И снова разбрелись по двое — Петр с Павлом, Николай с Василием. Одна пара, постарше, направлялась к магазинчикам, что окружали пространство рынка, а другая — глазеть и приценяться по рядам, где были выставлены семена, рассада, продавали лук, чеснок... Вообще-то не густо было в рядах, не то что на московских дорогих рынках, где бытует пугающее изобилие овощей, фруктов, грибов, засолов всевозможных, баранины, телятины, свинины и говядины, творога и сметаны вперемежку с петрушкой, сельдереем, пастернаком...

Николай с Василием остановились у «грузинских вин». Собственно, направлялись туда вспомнить былое, но вывеска с кистью винограда пообветшала от ветра, дождя и солнца — ларек был закрыт. Замок висел прочно: чувствовалось, этот вид промысла в рус-

ской провинции отходил в прошлое. Остановились и у «Фотографии», где были выставлены пожелтевшие изображения местных красавиц и кавалеров, несколько свадебных пар, несколько военных, молодой человек со шведской бородкой... И снова пошли к рядам с семенами: розовые женщины и задубевшие старики толковали о всходах, о почвах, об удобрениях, о всех превратностях судьбы и видах на урожай. Семена и рассада — все это буйно расцветет скоро, даже здесь, под этим северным небом. Николай купил несколько кульков с семенами цветов — анютины глазки, львиный зев, душистый горошек... А Василий углядел коврик круглый, сплетенный из разноцветных лоскутов,— он, подобно солнцу Ван Гога, вдруг открылся ему из-под прилавка.

— Это тебе, в твой дом,— Василий внимательно посмотрел на Николая.

— Спасибо. У нас и плетут. Да и у вас, где ты там — за горами, долами, наверное, тоже...

— Конечно! Но этот очень уж хорош! Да ты... что-то не весел, парень, или как-то лихорадочно весел... Не нравишься мне.

— Волнуюсь. Чтоб там без меня не сглазили, не растащили домишко по бревнышкам. Пройдет. Да и тащить там нечего. Да и некому, а всякая пакость в голову лезет. Я уж Павлу объяснил, он тоже все спрашивал, что со мной. Устал я с вами. Вы такие внимательные!

— Понимаю,— кивнул Василий.— В такое весеннее время, конечно, настроение переменчиво, понимаю, я и сам чувствую... А смотри-ка, наши идут, нагруженные покупками — что-то такое отхватили. И как дети!

— Военные дети, сиротские. Да и мы ведь тоже с тобой...

Братья подошли и наперебой стали рассказывать, что они купили: каких-то невероятных лезвий для бритья и массу всякой мелочи из уцененных товаров. Видно, что-то напомнило им о молодости. Но лезвия были их обоюдной страстью — «Жиллет», как тройка — господину, как галстук — чиновнику,— тут можно было понять. Служба Павла требовала опрятности, собранности, ритуала бритья перед выходом — необходима была свежесть и опрятность лица. И может

быть, даже больше, чем Петру, потому что Павел сам должен был совершать эти превращения, это колдовство, а над образом Петра трудились столько людей, столько мастеров! Братья с детским восторгом показывали и бумажник еще для «тех» денег, и флакон духов «Пиковая дама» — на стекле печальные карты из повести Александра Сергеевича,— и что-то еще... Все это развлекло Николая и отогнало от него гнетущие мысли.

— Ну что же, посидим, понаблюдаем? Время есть,— сказал довольный теперь Василий, когда страсти утихли и его друг как будто избавился на время от хандры.

— Мы хотели еще и «хохлому» купить, но при ближайшем рассмотрении она оказалась подделкой,— говорил, еще не остыв, Павел.

Все были довольны, всем было хорошо.

В это время на обозрение любителям базарной сутолоки выступила компания человек из пяти — семи. Ядро было компактно, но края расплывчаты,— как засада у наступающей армии, как птички, что окружают большое животное, следуя за ним постоянно, но оставаясь чуть сбоку, чуть в стороне. Великолепное зрелище! Все они были разукрашены, подобно скоморохам, в каких-то наклейках, лентах, бахроме... Чуть впереди шествовал высокий блондин. Волосы его развевались на ветру. Лицо прекрасно, если бы поубавить краски, убрать маску напускной надменности, на шее синий в клетку платок, бросались в глаза невероятных размеров красная куртка до колен и желтые брюки с бубенчиками.

Вдруг и девушки неожиданно вынырнули на это пространство — прелестные девушки, откуда только и появились... Четверка москвичей со вниманием смотрела на это зрелище, еще ничего не понимая. А те, красавицы, шли не торопясь. И было в их движении, в поворотах что-то сказочное и трогательное. Как будто весь базар преобразился, и торговля пошла оживленней, и товару прибавилось.

Павел с Петром вначале было насторожились, вспомнив, вероятно, свою юность. Но теперь все было другое (оставался лишь след, намек), тут был один только вызов, кураж: смотрите, любуйтесь; тут были зов, веселье и потеха. Пройдя круг, они вновь пока-

зались на виду четверки москвичей... И в это мгновение взгляды встретились.

— Мы были узнаны как нездешние,— предположил Василий.— И, кажется, они почувствовали достойных соперников...

— По-моему, ты преувеличиваешь,— откликнулся Николай.

— Ничего подобного,— сказал Павел.— Вы оба не правы. Вы и сами не знаете, кто вы такие. На вас посмотришь со стороны... Когда мы с Петром выходили из магазина, я стал искать вас глазами. И вот я посмотрел туда, куда все смотрели. А там были вы: стояли посреди базара, заняв, казалось, всю площадь, такие колоритнейшие фигуры... как бы из кукольного балагана. И о чем-то с воодушевлением беседовали, именно страстность вашего разговора, эмоциональность невероятная... Вы словно в живых картинах изображали то, чем мы живем, только скрываем. И я вспомнил, как в детстве отец рассказывал мне о живых картинах, а теперь увидел это своими глазами. «Сократ, беседующий с Платоном» — так, например, можно было бы назвать. Это было потрясающее зрелище. Мы с Петром получили огромное удовольствие. И я подумал еще: что это за «персонажи» стоят, беседуя, не Иван ли Никифорович с Иваном Ивановичем? А потом подумал: а может, это Иван Васильевич с Василием Ивановичем? Но где же их тарантас?

Опять все долго смеялись.

«Ватага» на мгновение остановилась, замерла в своем победоносном движении, как бы раздумывая, принимать ли этот смех на свой счет... Гитарист тронул струны, словно призывая к наступлению. Главарь мотнул головой, уже готовый было ринуться в бой. Но тут невольное обстоятельство нарушило все планы — к гитаристу подошла миловидная девушка, хрупкая, нежная, и что-то сказала такое, от чего все там рассмеялись, и так хорошо... Они вдруг все преобразились.

Петя хмыкнул, а за ним и Василий, а потом и Николай с Павлом.

Главарь взял из рук прелестной девушки корзинку, покрытую белоснежным полотенцем, и вся компания стала удаляться. Но гитарист все же оглянулся и сде-

лал сидящим на ящике путешественникам нос. Как говорится, победа была одержана без сражений. Пора было собираться в путь, они могли теперь спокойно покинуть этот городок. Снова разобрались парами и двинулись к реке.

У дебаркадера раскачивался теплоход на подводных крыльях: он назывался «Стрела», и это говорило о многом. Теплоход был заполнен до отказа. И тут наши путешественники оказались в некотором смущении оттого, что не было на месте старика-караульщика.

Вдруг звонкий голос, как полковая труба, прокричал:

— Артисты прибыли!

Капитан, не раздумывая, дал протяжную торжественную сирену — к отплытию, к отходу. Со своего высока он, приветливо улыбаясь, махнул им рукой, а те, что сидели или стояли у чемоданов, мешков, узлов, посторонились и дали дорогу. Один из диванов салона был уставлен их вещами. Они смущенно пробрались туда. И Петру ничего не оставалось, как исполнить то, на что он был мастер.

Он громко сказал:

— Я вам песню спою, дайте гитару!

Не буду описывать, что дальше происходило на теплоходе. Восторженность пассажиров постепенно спадала от духоты, беспрерывного воя моторов. Всех клонило ко сну, и многие уже спали.

Несколько раз теплоход приставал к берегу — правый берег был почти везде высокий и холмистый, поросший елью и березами.

Скоро теплоход подошел к мосткам, бросили доску с борта, и все гуськом, передавая друг другу вещи, прошли к берегу. Кроме москвичей здесь никто не выходил. С палубы что-то кричали, улыбались и махали руками.

Они стояли у рюкзаков и узлов под холмом, на который им предстояло взобраться. Но не думали сейчас ни о чем, стояли, завороженные тишиной и прохладой, необозримыми далями. Как будто слышно было, как спускаются на землю капли дождя, как пар поднимается от земли. Они долго так стояли, всматриваясь в окрестности, вдыхали воздух, напоенный влажным нежным запахом сосны, прелых листьев, тра-

вы, смотрели друг на друга. Им всем дано было еще раз ощутить состояние юности.

— Ну, дорогие мои,— позвал Николай чуть дрогнувшим голосом,— пора и в путь.

Они поднимались все выше и выше, переходя ручьи, прыгая с кочки на кочку. Земля оттаивала, набухала, готовая принять усилия человека и родить. Время от времени приезжие останавливались, чтобы передохнуть, посмотреть на пройденный путь, друг на друга, увидеть лесное пространство за рекой.

— Вот там должен быть приток,— говорил Василий.— И мне кажется, если по нему идти, то можно добраться до водораздела. А там уже мое хозяйство. Моя деревня. Как будто так, Николай? То, что я увидел здесь, невероятно — такие дали, такой лес!

Николай улыбался, он был доволен. Теперь говорил уверенным, хозяйским голосом, довольный тем, что рядом его друзья. Казалось, и вещи не были тяжелы, и подъем не крут — так хорошо они шли. Вот и первая изба показалась на склоне. Они вышли к размытой дороге, глина была красноватого цвета, уперлись в изгородь. Николай отодвинул слегу, пропустил всех и снова задвинул ее.

— Теперь, дорогие мои гости, вон там, видите, крыша с чердачным окном и балконом. Это мой дом и моя крыша...

— Там все твое... и за лесом тоже...— смеялся Василий, он был в восторге.

Они уже шли по деревне, кто-то из деревенских выходил на крыльцо, поздороваться. Николай раскланивался, низко опуская голову, степенно, представлял своих друзей.

— С приездом, с приездом, Николай Сергеевич, заждались, да и помощники у тебя хороши для весенней-то работы. Может, дашь кого на времечко? — шутили женщины.

Деревня располагалась углом — ряд домов стоял вдоль склона, обращенный к реке, а другой ряд уходил от реки к возвышенности, кладбищу и далее в поля.

Через калитку прошли двором, оставили вещи внизу, поднялись по ступенькам под навесом к двери. Николай достал ключ, повернул им в замке, отодвинул щеколду, и дверь со скрипом отошла. Зимой повеяло

сразу, холодом застоявшимся. Прошли дальше сенями. Дом был обширен, пятистенок, со скотной половиной, где Николай предполагал сделать мастерскую.

— Вот мы и дома,— сказал хозяин.— Сейчас откроем все окна. Затопим печь. К вечеру будет хорошо.

Помолчали. Сидели, отдыхали на лавке у растворенного окна.

— Пока не остыли,— предложил Николай,— давайте избу выметем, дров принесем, воды натаскаем и печь протопим.

Петр с Павлом пошли по воду, а Николай с Василием остались делать приборку.

— Ну как? — спросил Николай.

— У тебя просто, достойно...— ответил Василий.— Можно сказать — функционально. Рассказывай, рассказывай, я знаю, тебе хочется все показать.

— Как не хочется! Здесь у меня зимняя половина. Тут зимой, знаешь, даже жарко, форточку открываю. А там, у сеней,— летняя часть и комнатка для Нины. Наверху, у чердака,— летние спальни. Там и окошко я прорубил — можно читать, писать, а внизу — мастерская во весь двор.

Вымыли пол, натаскали дров, сняли с окон зимние рамы, затопили печь. Не сразу она занялась после зимнего застоя, но потом разбушевалась как следует.

— Гнезда у тебя не было в дымоходе? — спросил Василий.

— Теперь нет, я решетку поставил. А как приехал, в первый год, было. И у тебя тоже?

— И у меня было.

Скоро изба проветрилась, запахло смолистым деревом. Они сидели на лавке у распахнутого окна. Василий нарезал хлеб, Николай мыл посуду.

— Все хорошо,— говорил он,— но иногда так грустно бывает вдруг, выть хочется. Понимаешь?

— Да,— согласился Василий.

Пришли Петр с Павлом с полными ведрами. Уже смеркалось.

— Время-то как быстро скачет,— удивлению Павла не было предела.— А я-то собирался еще к реке сходить. Но сил уже нету, нету. Вот прошел в последний раз до колодца, а обратно и ноги не идут. И от воздуха опьянел. Так со мной только в горах было.

— Вы все себя не узнаете дня через два,— пообе-

щал Николай,— такими здоровяками сделаетесь от воздуха здешнего, да вот я еще молока парного принесу... Но пока не стемнело, давайте к ночи приготовимся. Кто хочет в избе, места хватит всем, а я так на сеновале. Натаскаю сейчас тюфяков, тепло будет и душисто на сене.

Его стали отговаривать. Ясно было, что остальные хотели остаться в тепле. Николай предложил:

— Может, ты, Василий, рискнешь?

— Не рискну. И тебе не советую.

— Тогда выбирайте места по вкусу. Кровать, сундук да лавка.

Решили тянуть спички, каждый хотел испытать свою судьбу, потому что было совершенно все равно, где спать, лишь бы спать здесь, в тепле. И выпало — Павлу на кровати, Петру на сундуке, а Василию на лавке. Как в сказке, все сходилось.

Посмеялись такому раскладу, потому что в приметы не верили, а верили в удачу.

Уже в печи кипел кулеш, уже Павел ставил на стол самовар. И вот наконец все было готово — стол накрыт.

— Ну что же,— сказал Николай,— начнем нашу холостяцкую жизнь.

— Разрешите,— Павел встал,— я сегодня буду дежурным, разливающим, ибо нахожусь ближе других к самовару.

Все улыбнулись ему.

Павел передал каждому по ломтю хлеба, наполнил деревянные миски кулешом из тушенки и перловой крупы. Еда немного пригорела в черном от копоти чугуне, но запах очага и острая приправа из перца, мяты и барбариса прекрасно подействовали. Павел так бережно и со знанием дела орудовал черпаком, чуть согнув его, чтобы было удобнее наливать, что, казалось, он всегда этим занимался.

Потом наполнил стаканы заваркой из чайника, с наслаждением глядя на его расколотый носик, залил его снова кипятком и поставил на самовар, накрыв бабой-грелкой. Вскрыл ножом банку с солеными огурцами и передал каждому по огурцу, после чего старательно наполнил стаканчики из своей походной фляжки, закутанной фетровым чехлом.

— Ну вот, кажется, все. Остальное берите сами —

соль, масло, картошку... Скажу немного — давайте радоваться тому, что мы здесь, и всему, что мы увидим и с чем столкнемся, что мы в этом уголке земли русской, что мы здоровы, крепки. И пусть дружба и радость не покидают нас. Хочу сказать еще: мы благодарны Николаю, что он вывез нас сюда.

Все встали, выпили и принялись за дымящийся кулеш, поглядывая друг на друга.

Мерно тикали заведенные часы-ходики с кукушкой. Потрескивало в печи, мерцание огня отражалось на стенах, потолке, на почерневшем от времени гладком дереве, не закрытом ни обоями, ни штукатуркой.

Невзначай вздохнул Павел, потом Петр, улыбнулся Василий и зевнул, и Николай хмыкнул и протер глаза рукой. Но поскольку был хозяином дома и потому, что менее других устал от впечатлений, стал было рассказывать о хитром и умелом Акиме-Иоакиме, своем друге деревенском, который возьмет все теперь в свои руки, все руководство деятельностью. О Зинаиде — маковом цвете, что прискачет на лошади...

Павел поддержал беседу, вспомнил любимого своего писателя Карамзина, его восхитительное начало «Бедной Лизы» — описание Москвы с холмов Симонова монастыря (повесть эту он перечитывал перед отъездом вслух своей взрослой дочери, а она плакала, потому что не сложилась ее жизнь с мужем).

Петр загрустил, представив свою молодую жену и своего сына. Василий хотел было что-то сказать, заметив грусть в глазах Петра, но тихо поднялся, проговорив, что пойдет подышит, а то как бы не угореть от первой топки. За ним потянулись остальные. Ночь стояла тихая, звездная, запахи весны волнами накатывались из необозримого пространства, омытая дождем земля дышала покоем. Далеко внизу за рекой, где-то в чащобе лесов блестели огни далеких селений.

Когда возвратились в теплоту дома, нашли живые запахи: они вернулись в дом, где уже начали жить.

Николай еще раз позвал к себе на сеновал и пошел, пожелав всем спокойной ночи. Разбрелись по своим местам. Василий устроил себе на лавке лежанку из тюфяка, набитого сеном, взбил подушку, пристроил на столе лампу и, раздевшись, забрался под ватное одеяло. Его дорожная тетрадь и карандаш были под боком.

«Двойной смысл во всем,— писал Василий,— предметах, деревьях, людях. Женщина, мужчина, деревья, вода, огонь... Каждый человек, животное, дерево и каждое слово заключают в себе двойственность. Волшебство и реальность...»

«Подъем тяжел,— было в следующей записи,— но прекрасен, как и отъезд из Москвы. Местность понравилась. Пришлась по душе. Как будто я уже здесь бывал. Кажется, мы подружились с П. Барин. Хорош в проявлении чувств. Дом понравился. Надо бы присмотреть...» — так и заснул с тетрадью в руке глубочайшим сном.

Проснулся Василий через час. В избе темно, тепло, жаром тянуло от печи. Поднялся, сунул ноги в сапоги, приоткрыл окно. Проверил заслонку в печи. Петр сопел тихо и мирно, удобно устроившись на перине. Павел что-то бормотал. Василий осторожно коснулся его вытянутой рукой и положил ее поверх одеяла. Потом надел телогрейку, вышел в сени и по лесенке стал пробираться к Николаю.

— Не спится? — спросил Николай, отрываясь от книги.

— Заснул да проснулся,— Василий опустился в сухое сено.— Там жарко, а тут у тебя действительно привольно. Звуки слышны.

— В деревне еще не все спят. Может быть, выйдем? Сходим к Акиму-Иоакиму, он будет рад, ведь знает, что приехал. Я к нему обычно всегда захожу в тот же вечер.

— Пройтись не мешает...

— Он, я тебе скажу, чудной старик,— рассказывал Николай.— Да это и понятно, скажешь ты, с какой бы стати дружил с ним и вспоминал о нем...— Николай тихо засмеялся.— Он, конечно, личность не героическая, но память у него сказочная и руки золотые... Он — задира, поэтому его и побаиваются, как бы чего-нибудь не сболтнул лишнего, как бы не столкнул кого-нибудь друг с другом. Ты, может, скажешь: вот снова старики да старики...

— Нет, не скажу. А думаю даже, что пока это поколение еще не совсем ушло, его надо как следует рассмотреть и прислушаться к нему. Запомнить...

— Вот именно. Есть у меня еще один друг — Алексей Федорович, местный лесник... Но только одно спа-

сение с ним в лес уйти, тогда с ним здорово. И собаки его лайки, сроду таких собак не видел, хороши собаки... Аким-Иоаким же хитер, коварен то есть, но открыт нараспашку. Его деревенская хитрость выработалась за многие годы. Он теперь один живет, дети разбежались — кто на лесоразработки, кто в город. Но к огороду приезжают, помогают ему. Да и без огорода наведываются,— Николай махнул рукой.— Коварство его настолько простодушно и так на поверхности, что провести его ничего не стоит... Чем и пользуются. Да что я тебе все объясняю, у тебя там вряд ли что другое... Все хотел спросить, не надоело тебе, писателю, ворошить все это — скудость, лень и вот такую «хитрость», а? Что же получается? Выходит, если криво посмотреть, со стороны — изжил себя человек, несет его куда-то в другие пространства... Возьми, к примеру, себя. Во что превратился? В какого-то странника, эколога культуры.— Говоря так, Николай улыбался.

— Действует деревенский воздух на сеновале! — улыбался в блаженстве и Василий.— Пошли-ка скорей, развеем, передадим свой заряд Иоакиму.— Неожиданно серьезно добавил: — Знаешь, какое я слово хитрое нашел — «заповедник». Нравится? Место духовной оседлости...

— Пожалуй, смысл есть,— согласился Николай, уже поднимаясь.— Собирайся. На рыбалку-то все равно завтра не пойдем, рано вставать не станем.

— Какая теперь рыбалка...

* *

Все спали в деревне, когда они вышли на улицу, но в одном доме горел свет, и очень ярко,— в доме Акима-Иоакима. Настольная лампа под металлическим колпаком, какую обычно встретишь в конторах, стояла на подоконнике и освещала не саму комнату, а часть улицы. Ее специально так поставили, чтобы видели: здесь не спят, кого-то ждут... Они постучали, дверь оказалась незапертой. Вся изба была в деревянных перегородках, а посреди белела большая печь. Василий предполагал, что хозяин сейчас спустится к ним с печи, вперед валенками, но голос громкий на их шаги донесся из глубины:

— Кто там, не ты ли, Николай?

— Да,— откликнулся Николай,— это я со своим приятелем. Пришел тебя навестить, сказать, что приехал. Хоть поздно, а все же, думаю, зайду.

— А я не сплю, жду тебя. Мысли ворочаются... Я слышал, что ты прибыл со своими друзьями. Думал, уж не зайдешь. А потом так решил: нет, зайдет,— голос старика слегка дрожал, и этого нельзя было не заметить. Василий с Николаем переглянулись.

— Ну, думаю, прокручусь, а уж с утра к тебе отправлюсь. Соскучился, что говорить. Зима-то у нас тяжела была. Но, смотри, выжили некоторые...— пошутил старик.

Пахло травами, может быть, старым, но чистым запахом. Старик был рыбак, и вода и ветер, наверное, приносили в его дом запах простора. Бревна стен были могучи, даже удивительно, что росли такие сосны, висела карта Советского Союза, а также портрет самого старика, писанный Николаем, как сразу отметил Василий. На красном фоне — лицо старика цвета предрассветного, белая рубаха. Картина, кажется, не была окончена, виделось в ней что-то незавершенное. В углу, рядом с киотом, были фотографии — и пожелтевшие, и совсем новые. Старинные часы французской работы отмеряли русское время. И швейная машина «Зингер» соседствовала с этими часами.

Николай сразу прошел к кровати старика, Василий чуть задержался.

— Я с зимы все дожидался тебя. Вытрусил, проветрил, обиходил в твоем доме,— рассказывал старик,— чтобы не душно было. Ну что же, рад тебе,— сказал старик и, вздохнув, спросил: — Кто же с тобой?

— Василий, мой друг,— сказал Николай и присел к старику на кровать.

Василий рассматривал фотографии.

— Постарел ты за зиму, Аким-Иоаким...

— Есть немного. Чуть было богу душу не отдал, но обошлось. Теперь жить буду еще. Василий, и ты присаживайся, дай на тебя посмотреть. А хочешь, так достань нам из шкафчика, что в кухонном притворе, там есть что.

Василий подошел к кухонному простенку, открыл резные дверцы шкафа старинной деревенской работы. На большом подносе стояли штоф зеленого стекла и

несколько стаканчиков. А еще мед, немного вяленой рыбы, кусок сала, хлеб... К горлу подступило у Василия. Он представил, как старик лежал и ждал, когда придет Николай. Василий взял поднос и перенес его к изголовью кровати.

— Ну вот и хорошо управился,— сказал старик, подмигивая ему.— А рыба в этом году плохо шла... Правда, попробовать и теперь можно...

— Да будет тебе, Аким-Иоаким! Мы, конечное дело, «поботаем», наделаем шума, но я вот приехал, огляделся, зашел к тебе, и хорошо мне.

— Баньку истопим, попаритесь всласть...

— А вот это обязательно, непременно. Как она у тебя, существует еще?

— Славно мы с тобой тогда поработали, хоть всю деревню заводи, пару хватит. Угощайтесь, ребятки. А мне на донышке, я теперь слаб.

Старик говорил, что вскоре уже должны прибыть и сыновья, что время самое заниматься огородничеством.

Он рассказывал о новостях деревенских, об умерших, родившихся. Что оползнем подточило овраг и снесло несколько бань, его чудом сохранилась. И стоит теперь одна-одинешенька в старом исконном ряду под липами, новый же ряд устроился по другую сторону оврага и далеко от пруда, но и ряд-то теперь невелик — три бани... Узнав, что у Василия дом в деревне по ту сторону гряды, увала, старик вспомнил, как в юности прошел туда пешком, на Макарьевскую ярмарку. Там, неподалеку от Макарьева, где жили его дальние родичи, в деревне Никола на Взгорье нашел себе Анну, жену свою, которая теперь уже третье лето как померла, оставив его одного...

Старик смотрел на них грустно-пронзительными глазами и улыбался доброй улыбкой.

Обратно Николай и Василий шли молча. Николай принес свою постель с сеновала и устроился рядом с Василием на лавках у приоткрытого окна, вместе со всеми.

Василий сидел под солнцем на лавочке у дома, уже поработав лопатой. Он покуривал самокрутку махорочную, пот стекал по лицу. Подумал, что рука, кото-

рая теперь держала карандаш и дневник, приобретает к вечеру мозоль. И вовсе не от писания, а от трудов праведных. Перед ним на огороде мелькал Николай. Одна грядка была уже вскопана, перелопачена их стараниями. И Николай на другом конце огорода, у соседнего пустого дома, перебирал, нарезал картошку для посадки. Василий записал: «Вспомнил юность. Сибирское голодное существование. Благолепие утреннего часа. Пока Николай топил печь, а братья собирали снаряжение для рыбной ловли, сходил к соседке (обаяние и предупредительность) договориться о молоке. Получил больше — сметану и мед. Благодарил, балагурил и обещал не остаться в долгу. Предложил свои услуги и помощь в огороде. Женщина опрятная, душевная. Две девочки — не робкого десятка. Отец сбежал в город. Якобы на заработки. Но кто теперь этому поверит. Хотя она его ждет. Несправедливость судьбы (историю записать потом). Пили молоко. С большим удовольствием беседовали, наблюдая друг за другом. Были внимательны. Посмотрим, что будет вечером. Уже полдень, а нас еще никто не посетил. Конечно, видели, как братья пошли на рыбную ловлю, и, наверное, подумали, что у нас есть дело. Как не быть!»

В это самое время послышались стук телеги, ржание лошади и крик женщины — будто неслась нечистая сила на своем помеле.

— Слышишь,— Николай поднялся от своих грядок,— Зинаида скачет. Хочет первой быть. Но что-то она запоздала. Ей бы полагалось к завтраку нагрянуть... Может, что случилось? Необыкновенное. Или наша Зинаида с очередной драки с мужем... Ну, держись! — и тут же замолчал, прикусил, что называется, удила, потому что в это мгновение Зинаида осаживала лошадь у забора. Отряхнулась, подняла голову:

— А вот и я, мальчики! Да у вас тут, смотрю, работа вовсю кипит. Однако вашу грядку вроде занесло, завело, как головку подсолнуха. Или вы, может, нарочно хотели? Покрасивше?!

— Да,— Николай улыбался во весь рот.— Именно нарочно. И покрасивше...

— А я как сказала? Не так, что ли? Может, у меня глаз кривой?

— Вот именно,— сказал Николай.— А как же иначе!

— А где же мой ненаглядный Евгений? — спросила Зинаида, подсаживаясь к Василию.

Николай отошел в сторону и с удивлением увидел кривизну грядки.

— Неужто рыбачить отправился? И меня не дождался! Вы, думаю, знаете, как меня зовут? — обратилась она к Василию,— Зинаидой, а вас я не знаю, хотя и могу догадаться.

Василий улыбался.

— Евгений, наверное, прибудет через неделю, я так думаю, его дела задержали... Он о вас многое рассказывал, я помню, говорил, что вы его опора. И вот теперь вижу, он совершенно прав.

— Ну уж вы скажете! — она сделала хитрое лицо, но улыбка при этом не могла совсем сойти с него.— Николай, миленький, да иди же ты сюда поскорей! Этот твой друг, он меня погубит... Как же получается, нет моего ненаглядного Евгения? А я-то надеялась...

— Будет твой Евгений, прилетит, недолго удержится в Москве. Ради одного любопытства и то приедет. Ты бы хоть письма почаще писала... Или, я думаю, не совсем ты готова к его приезду... Потому и сегодня запоздала... Догадываюсь, ничего и не сделано, что было обещано,— говорил Николай, подходя к Зинаиде.— Ну, расцелуемся, Матрена Патрикеевна!

— Да меня не так же звать,— смеялась Зинаида, увертываясь.

— Ну хорошо, Алиса Тимофеевна,— говорил Николай, пристраиваясь с другого боку и счищая с рук землю.— Как же ты могла все успеть?..

— Опять! Да что ты испытуешь меня!

— Дом-то хотя бы стоит?

— Куда ему деться!

— Вот и славно. Остальное приложится. Пристроим, надстроим, огородим... Мы как будто хотели Евгению забор поставить, если ты помнишь?..

— И помню, и знаю, и все уже приготовлено... Кстати, когда вы к нам думаете нагостить?

— Не знаю,— ответил Николай,— может, завтра. Когда пригласишь. Нам бы гряды вскопать да картошку посадить. Еще я рассады привез — салат, редиска, цветы... Двор прибрать не мешает. Кусты, смотри-

ка, разрослись — малина, крыжовник, смородина...

— Хозяин, хозяин,— говорила Зинаида, мотая головой.— А вы, Василий, что же не поспеваете, домиком не обзаводитесь? Вот приедете в нашу деревеньку, я вам один дом покажу, загляденье, не хуже, чем у Евгения. У нас-то получше, чем здесь. И река рядом. Отсюда-то пока до нее доберешься, до нашей красавицы!

— Надо будет подумать,— Василий с интересом поглядывал на Николая.

— Перемаргиваетесь, мужики? А нет бы гостью в дом пригласить...

— Еще не пора,— засмеялся Николай.— Еще и полдня нет...

— Как это так нет!

— Говорю, не время. И можешь обижаться, сколь хочешь, а я знаю, что и у тебя дела, и нам не время прохлаждаться. А то сами же потом скажете, что это Николай посреди лета вздумал огород распахивать... Как твой Сергей Александрович?

— Да пусто бы ему было, серому. Все-то ему не так, всем-то недоволен...

— А ведь живете вместе, никуда друг от друга не деваетесь. Хотя и детей у вас нет. Но это я лишнее...

— Ясное дело, лишнее... Заладил свое. Наше это дело, понял, и не суйся, не перешептывайся... Так хотим, так и живем. У тебя-то есть дети? То-то, сразу уставился. Ну ладно, не в духе я сегодня, сердитая, не с той ноги встала... Вот, мчалась на этом мерине, хотела вам помочь, развеселить. А теперь... Поеду со своими делами управляться. Но уж после, под вечер — на обратной-то дороге,— ждите, угощайте, приголубливайте... Аким-Иоаким-то еще не объявлялся? Все выжидает... Или вы уже пошептались вчера?.. Ох, не люблю его хитрости... И что только ты в нем отыскал, в пустомеле!

— Ну, я бы так не сказал,— откликнулся Василий и тут же пожалел, что не смог сдержаться.

— Ага, и ты туда же!

— Да она так не думает, это у нее ревность к Иоакиму,— пояснил Николай.

— Ты мне зубы не заговаривай. И имя-то какое выдумал ему, надо же! Вернее-то — Шум Иванович.

Так получается, что уже была у вас встреча. И много же он успел наговорить?

— Много,— улыбался Николай.

— А ты, Василий, не иди на поводу у этого чудовища,— засмеялась и Зинаида.— Ты мужик простой, бесхитростный, не то что те гуси... Я уж видела, как они с удочками-то своими, такие чопорные путешественники шли киселя хлебать. Годков-то на десять старше вас будут приятели?

— Родственники,— сказал Николай.— Нашли друг друга в море житейском.

— Ах вот оно что! Тем более приду. Порасспрошу, расшевелю вас всех... Думаю, что не одна я буду гостьей у вас. Ну хватит, побежала, огородничайте.— И Зинаиду, как ветром сдуло, она уже была на своей бричке, взмахивала кнутом и кричала: — Председатель тебе привет шлет! Перетянул ты все же и его на свою сторону! Вечером свидимся, я все расскажу. Мне твой Василий понравился,— она стояла в телеге во весь свой огромный рост.— Бывайте, землепашцы! — и стегнула кнутовищем по воздуху.

Повозка загромыхала пустыми бидонами, а Зинаида запела что-то похожее по ладу на частушку.

И тут из-за сарая, с противоположной стороны усадьбы, где по кромке огородов пролегала тропка, ведущая в магазин и село, вынырнул Аким-Иоаким. Или это получилось случайно, или он дожидался, покуривая, когда скроется Зинаида. Однако ясно было, что он ее заметил и слышал ее крик. Шел не торопясь, качая головой, как будто говорил сам с собой. И как бы продолжая вчерашний разговор с Николаем и Василием,— они стояли у вспаханной грядки и ждали его приближения,— сказал:

— Ну что же, подсобить вам? Давайте развернем работу...

И так они больше ничего пока не говорили, не обсуждали. Николай взялся перекапывать следующую грядку, заранее отметив ее колышками и натянув веревку. А Василий с Акимом-Иоакимом принялись сажать картошку. Василий выгребал лопатой лунку, Аким-Иоаким кидал из ведра нарезанные на глазки картофелины, и они точно попадали глазком кверху. Земля снова обрушивалась, чтобы там, в темноте, дать картофелинам погибнуть и родиться новыми всходами.

Она дышала и как будто даже охала, ей, видимо, нравилось усердие этих людей, склоненных к ней. Пот прошибал их под ясным весенним небом.

— Тут когда-то жил добрый хозяин,— говорил Иоаким, наблюдая, как Николай докапывает грядку.— И семья у него была большая, и дом в достатке. Тогда у нас артель только появилась, я еще молод был. Дружно мы работали... Второй-то дом, что теперь ощетинившись стоит,— это одна усадьба была. Потом старший сын выделился... Ну а после все полетело, покатилось... Войны, раздоры, перемещение во времени и пространстве... Край наш забросили, забыли о нем на время. Оставили как бы под паром. И разбрелись все по белу свету — в города да на стройки. Тут только те и остались, кто никак не мог сдвинуться с места. Или не хотел. Не мог оторваться от земли, так, что ли... Ты, я думаю, и сам знаешь побольше. Мне оправдаться перед тобой хочется, чувством своим поделиться: забыли мы о своей земле... В тех местах, где уединение твое деревенское, за увалом,— там ведь такая же летопись, не одинокие мы... Как будто нам надо было, вроде этих картофелин, погибнуть, чтобы потом возродиться... Места тупиковые — ни дорог, ни подъездов. Одни лишь реки. Реки и леса.

Старик присел на корточки, захватил ладонью горсть земли и стал ее перебирать, ссыпал с ладони на ладонь. Заметив, что Николай увлекся и вовсю, насколько есть упор его силе, поднимает землю, как будто он ее всю хотел поднять, старик сказал:

— Николай, ты так-то глубоко не забирай. Под нашим северным небом когда еще росток пробьется, ему не успеть, да и земля там, поглубже, не та. Эту ведь натаскали, что сверху — образовалась она таким слоем малым...— И уже тихо, обращаясь к Василию: — Вот старуха, она меня, пожалуй, годками постарше, Матрена, что дом Николаю продала, теперь в городе, у дочек своих, а муж ее в войну погиб. Она часто домой-то наведывается, скучает... Бродим мы с ней по взгорью, разговариваем, а то и молчим, вспоминая былое и недавнее... Она, видишь ли, Василий, тогда настояла на собрании, чтобы Николаю-то дом продали. Откуда и силы взялись, всех-то на свою сторону перетянула, сговорила, и председатель сколько упорствовал, а все же и он согласился и даже выгоду

для колхоза нашел в этом поселении Николая... Нашел выгоду в художестве его. Ну вот, еще чуточку, и грядки наши прибраны будут, можно и за зелень приниматься. Только навряд ли рыболовы ваши что поймают, хотя, кто знает, бывает и удача. Так чем же это Матрена всех расшевелила, удивила и воодушевила? А вот чем. Она говорила: вот вы там утверждаете, мол, для чего здесь чужой, на нашу жизнь смотреть?.. Не наш, не местный. Не из нашей земли рожденный... Все равно на снос пойдем да травой зарастем... А ведь человек этот — художник. Это Матрена так говорила. Он нашу местность в своих картинах запечатлит, запомнит, и станем мы обретаться в истории. Конечно, может, такое и не случится, совсем то есть. Это он нам знак, говорила она, и тут надо не раздумывать, а ухватиться за него и не отпускать, ибо он для нас может быть единственным выходом, единственной возможностью сохраниться. И не только сохраниться и уцелеть, но и воспрянуть, как из пламени, подобно фениксу... Конечно, Матрена красиво умеет говорить, словами она всегда кого хочешь привораживает. Но дело пошло, все правление проголосовало. Существо поняли, то, о чем она думала и о чем все когда-нибудь да задумывались... И еще Матрена говорила о надежде: нельзя терять ее, даже когда она отворачивается от человека, даже когда ее и не сыщешь, забывать о ней не следует все равно. Вы посмотрите, убеждала она,— художник приехал из столицы, из самого лучшего города, и увидел красоту наших мест, ту, что когда-то нашли, откопали, обрели наши деды... И этот художник увидел, в нас самих что-то такое заметил, о чем мы и сами, может быть, забыли. Что-то такое важное, главное. Он, может быть, увидел, что это пробуждение...

Старик замолчал, смотрел куда-то вдаль, выпрямившись, потом взглянул Василию в глаза:

— Все меньше и меньше людей от земли рождаются... Смотри-ка, Николай и дело закончил, только что-то смотрит недовольно, не доволен моим разговором... А что тут поделаешь... Конечно, может, я и не далеко ушел...

Павел сидел на пне и смотрел на реку, где были расставлены удочки, а Петр разжигал костер. В ив-

няке, где они находились, только что — дня два-три назад — бурлила своим половодьем, стояла река. Костер разгорался нехотя, как Петр ни старался, а ведь умел разжигать костры. Сушняк он принес издалека, наломал соснового хвороста и слышал, что где-то скулит собака. Он видел, что собак в деревне нету, и он стал прикидывать, откуда бы этой взяться. Он хотел, чтобы костер поскорее разгорелся не потому, что ему непременно надо было увидеть языки пламени, и не для того, чтобы удивить брата. Он любил как раз не это состояние костра, а то, когда соберутся угли и можно будет что-нибудь подогреть, или поджарить, или провести в тепле целую ночь.

Павел обернулся к нему и сказал, что, видимо, рыба уже больше клевать не будет. Несколько ершей, что им достались, спокойно уместились бы в котелке Павла и их хватило бы или для кошки, или для аквариума. Но, кажется, тут была другая охота, тут была другая игра, и тут была совсем другая жизнь, отличная от таких понятий, как, скажем, промысел или браконьерство. Братья, при всем том, что они были довольны и природой, и тем, что оказалось здесь и неожиданно рядом, никак не могли еще осмыслить ту радость, о которой они мечтали, когда узнали, что оба живы, что существуют. Им было хорошо вместе, и то, о чем они мечтали, когда ждали друг друга и когда собирались ехать сюда, все это уже было позади. Они сполна получили от этого ожидания и от тех воспоминаний, которые появились у каждого. Но теперь им все еще казалось, что должно появиться уже сверх отпущенного. Им было хорошо, до боли хорошо, они еще не могли поверить, что все это происходит с ними, что это они — брат с братом — сидят на песке, где только что отошла от своего весеннего буйства река...

— Где-то тут бродит собака,— сказал Петр, подходя к Павлу. У того были закрыты глаза, и он что-то шептал, шевелил губами.— О чем-то думаешь? — Петру хотелось и это знать.

— Нет, Петя, ни о чем не думаю. За многие, может быть, годы. Вот сижу спокойно у реки, слышу ее журчание, как ветерок играет, и ни о чем не думаю, слушаю, как природа живет.

— Ходил сейчас за хворостом, набрел на избушку.

Так близко от воды, на холме в соснах, и окна заколочены... Надо бы у Николая спросить.

Павел сидел без движения, только открыл глаза, как будто и не слышал брата. Петр поправил еще костер, расстелил брезентовый плащ на песке и лег навзничь, лицом к солнцу. Так они молчали некоторое время. Тишина кругом была разлита, только река журчала, птицы пели, шелестела трава, первые бабочки летали, опускаясь на желтые цветы, и пыльца сыпалась на траву, и трава клонилась к земле.

— Люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор...— тихо прошептал Петр. И это неожиданно ясно и звонко разнеслось по реке.

— Ты очень хорошо декламируешь,— сказал Павел,— и там, на пароходе, пел от души, во весь голос.

— Признателен, когда меня слушают. Все готов сделать, чтобы людям было хорошо, чтобы у них чувства пробуждались, не дремали. А как там, в Европе?..

— Я теперь долго никуда не поеду. Так решил. Мне заново надо понять страну, гражданином которой я являюсь. Может, это звучит здесь несколько высокопарно, но дело, Петр, очень серьезное. Я могу там работать, когда у меня почва, опора в душе. Да и в семье, как ты знаешь, у меня не все ладно.

— Но твоя дочь, кажется, успокоилась, приняла какое-то решение...

— Может, мне надо было взять ее сюда, не знаю, ничего не успокоилась. Она сошлась с парнем, я принял это как должное, пошел на поводу у настроения, времени. И сделал ошибку, которой делать было нельзя. Она-то от меня ждала взглядов моего поколения, чтобы от них оттолкнуться, принять свое решение, а я оказался как бы вроде того безответственного мальчишки... Я давал им деньги, не спрашивал, для чего они им. Отправлял их туда, куда они хотели. Устроил его на работу, которая казалась ему привлекательной и престижной. Бродил по городам Европы и думал, что бы им такое привезти, чтобы порадовать их... И все это — вместо того чтобы сопротивляться их мимолетным увлечениям, вместо того чтобы держать их в строгости, натягивая тетиву до предела, но думая и о том, чтобы эта тетива не оборвалась, чтобы она

была в меру натянута, чтобы можно было пустить стрелу. Надо было им предоставить то действие, которое формирует характер, закаляет волю, позволяет делать ошибки, радоваться успехам, оказываться в отчаянии... То есть жить. Парень воспитывался теткой в провинциальном городе, и жалость моя к нему переросла в преступление... Теперь они расстались. Нет, расстались уже давно, когда у него появились интрижки, безответственность и когда она тоже попыталась пойти по такому же пути... Вот тогда я очнулся... Я приезжал в Москву, и для меня это было праздником. Мне казалось, что все должны быть радостны и счастливы...

— А твоя жена?

— С моей женой худо... Она оказалась и без меня, и без дочери. Но я надеюсь...

— Моя жена просто отдала мне сына, а сама стала порхать...

— Тебе в каком-то смысле повезло — она оставила сына. Он все же был с тобой.

— Я вел плохую жизнь, пока не нашел Елену и пока она не взяла нас с сыном в свою семью.

— Но и у нее,— сам говорил — не очень удачно в прошлом складывалась жизнь...

— Там был дед, ее отец, со своими строгими понятиями, строго регламентированными правилами, распорядком жизни... Я попал в налаженную стезю, которую можно изменять, корректировать, чуть отходить в сторону, но которая сама по себе, в своей основе была незыблема, имела ценность и знание не одного какого-нибудь человека, а традиций целого поколения, и имела преемственность... Ты мне рассказывал много интересного, значительного из твоего существования и того, что тебя окружало. Но я заметил, что у тебя не было друзей. Были приятели, знакомые, люди долга, с которыми ты вместе двигался по жизни — во времени, в удачах, сомнениях, падениях, взлетах... Но у тебя не было друзей, не было тех отношений, которые сложились, например, у Василия с Николаем.

— Ты это заметил потому, что с тобой произошло то же самое.

— Ну хорошо, теперь не хочешь отвечать или не можешь... Я не задаю тебе вопрос, я говорю так потому, что это приходит мне в голову, потому что я

сам хочу понять, почему мы так ухватились за предложение Николая и поехали с ними... Мы хотим понять и что-то взять у них, у Василия с Николаем?

— Ты хочешь признаний. И я тоже жду от тебя многого, постарайся выдержать... Мы приобрели то, на что уже не надеялись...

В кустарнике послышались шорохи. Потом появилась собака, это была лайка чистокровной породы. Она стороной, вдоль кустов приближалась к воде и легла неподалеку от того места, где у костра братья устроили привал.

«День удался на славу,— писал в своей тетради Василий.— Необыкновенное тепло для этого времени года. Ни дуновения ветерка. Впадаю в подражание описаниям деревенского старожила, дяди Тимоши. Братья пришли необыкновенно веселые. Что ни скажешь им — смеются. Рыбалкой были довольны, хотя ничего не принесли. Говорят, раздали по дворам кошкам. У кого это они молоко пили, братья? Были в восторге от нашей работы. Полезли в разрушенный дом. В поисках народной старины. Нашли кусок прялки, деталь станка ткацкого. Один лапоть. Несколько порванных книг по математике, школьную программу. Все, что сохранилось. Петр вывихнул себе ногу. Не совсем кстати. Придется заняться лечением. Братья пришли поздно. Может, это и оправдание. Пошел на прогулку. Дорога сказочная. Полем. Потом овраг, лог, поросший деревьями. Ручей,. папоротники. Березки. Сосны. Прохлада. Невероятное умиротворение. Некоторое время сидел на пеньке и размышлял о радостях жизни. Никуда дальше идти не хотелось. Так бы и просидел до сумерек. Обратно шел и пел. Гонялся за птицами. Не заметил, как прошел овраг. У фермы, при виде молодых бычков, взял себя в руки. Попался родник, испил живой воды. Когда появился во дворе Николая, с удивлением узнал, что вернулся необыкновенно быстро. В глазах друга ласковая улыбка, предвещающая издевательский разнос.

На протяжении дня приходили многие поселяне: поздравить с приездом, послушать о столичной жизни, предложить свои услуги, получить то, что просили привезти из Москвы. Запомнилось: у многих черные

глаза, белизна кожи и певучий говор. Но несколько отличался от крестьян, которые живут там, где мой дом. У них гласные протяжней.

Приходил Иван Иванович из «Рыбнадзора», приглашал в гости. Николай привез его жене «мануфактуру», трикотажные ночные рубашки. Самому — лезвия для бритья, кое-какие детали для мотоцикла и прочие мужские забавы. Человек симпатичный, небольшого росточка и, кажется, обладает невероятной силой. Дым пускает колечками. Каким-то чудом тут же вылечил ногу Петра, вправил ее. Неразговорчив. Когда смеется, показывает крупные нижние зубы.

Иоаким пробыл почти весь день. Ушел только под вечер, когда появились братья. Сказал, что у него дела и к тому же надо вычистить баню. Но, думаю, не хотел встречи с Зинаидой.

Приходил мальчик, сын нашей соседки. Лет двенадцати. Принес молока, творога и яиц. Передал приглашение матери — вечером смотреть телевизор. Вот такие дела.

Братья пришли с собакой. Необыкновенной красоты лайка. Рыже-красная. Кобель, двухлетка, удивительно сообразительный. Почему-то никуда не ушел, а лег у порога, как будто или часто здесь находился, или кого-то ждал. Николай отметил, что это собака Алексея Федоровича, лесника, и что в деревне собак не держат. Только у него и есть две лайки.

Вскоре появился и Алексей Федорович. С другой собакой. Сам рыжий, и собаки его рыжие. Весельчак. Как дитя. Все говорил о своей матери. Он живет в другой деревне, там, где Зинаида, а мать его здесь, со своим младшим сыном. Говорил о превратностях жизни. Во всем видит смысл. Дошел до Берлина. В Австрии чуть было не женился, так он говорит. Часто ночует в лесу. И летом и зимой. Нашли общий язык с Павлом. Шушукались и куда-то ходили. Вернулись с рыбным пирогом. Так что можно считать, что рыбалка удалась. Может быть, завидую. Хотел бы вести такую жизнь, какую ведет Алексей Федорович. Кажется, поздно. Но, вероятно, ничего поздно не бывает. Главное — каков человек, каковы его стремления и воля. А также свободен он выстроить свою жизнь так, как он сам того хочет.

Снова явилась Зинаида и все перевернула. Куда

только девалась прыть Алексея Федоровича. То есть в том смысле — каков актер! Вдруг переменился. Сделался эдаким тихоней. В чем ему, правда, хорошо подыгрывал Павел. Но Зинаида разошлась вволю. Заигрывала со всеми тремя, обещала вскружить голову Павлу. Петр, в свою очередь, пытался играть. У него по сценарию примерно та же роль. Хорош он будет в роли художника, решившего поселиться в деревне! Только работы предстоит много. И мне придется несколько переписать сцены, где он появляется. Сделанный монолог никуда не годится. Театральщина...

Господи, как же образовать, воспитать женщину, которая задавала бы глупые вопросы, на которые не надо отвечать? Чтобы делать ей всяческое приятное и получать от этого наслаждение? И чтобы она весела была и выступала будто пава?.. Отвлекся в мечтаниях, а мои дети растут, и им нужна моя помощь. И опять отвлекся, хотя намеревался записать этот вечер. Потому что говорили как раз о течении времени, о том, что жизнь человеческая бесценна, хотя на поверхности и кажется бессмысленной. Но теперь устал, в голове другие мысли. Лежу на сеновале, Николай остался в избе. Чувство локтя. Поезда в ночи... Белые пароходы... Сейчас почитаю Пушкина. Тут есть его сказки. «О мертвой царевне и семи богатырях». Что же завтра?

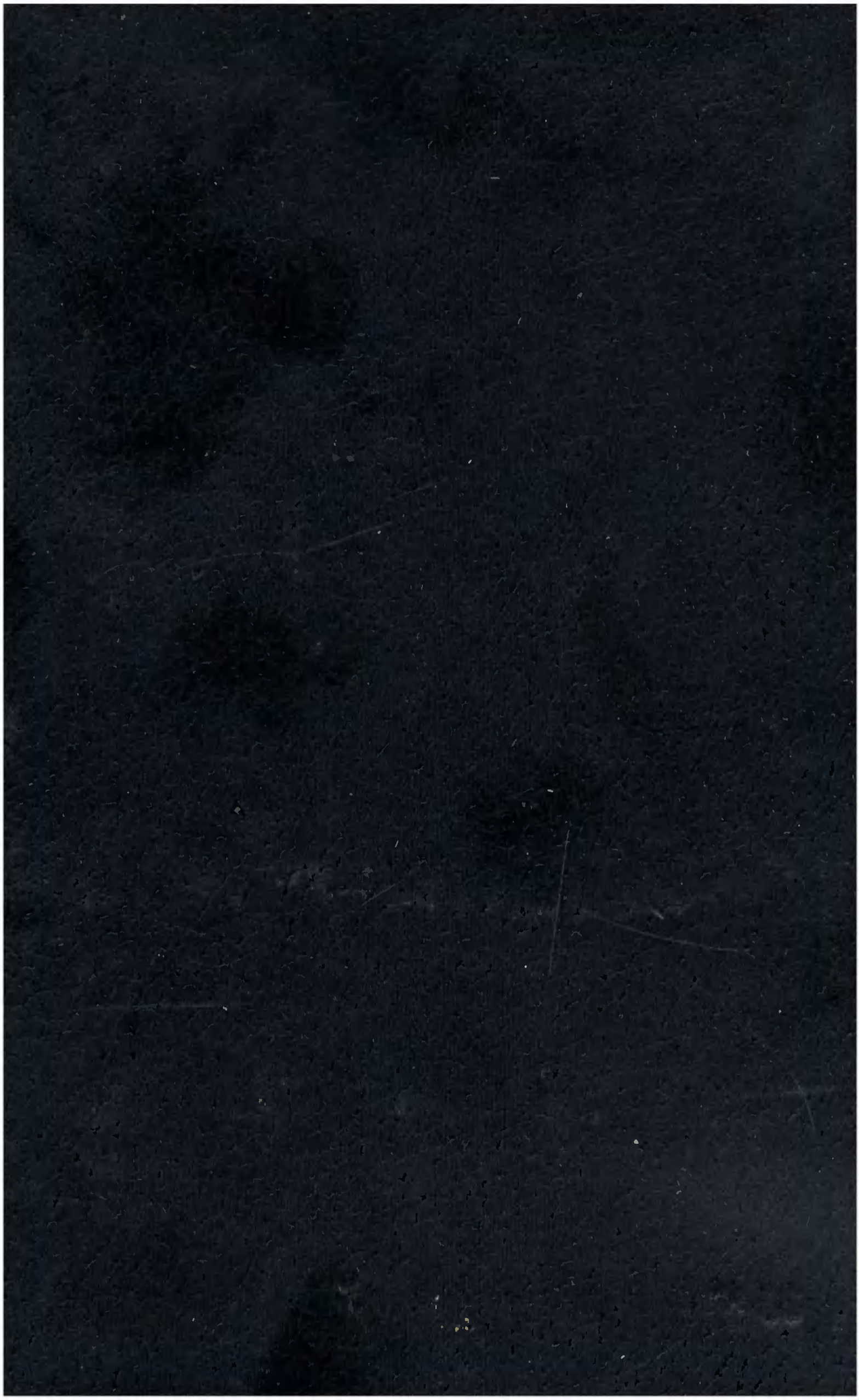
**Владимир Иванович Аниканов**

ОТЧИЙ ДОМ

Роман

**Редактор Л. Костина**
Художник **В. Тё**
Художественный редактор **О. Червецова**
Технический редактор **В. Котова**
Корректоры **И. Крупина, И. Маргорина**

ИБ № 3582
Сдано в набор 01.12.87. Подписано к печати 25.02.88. А10027. Формат 84x108 1/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 10,08. Усл. краск.-отт. 10,08. Уч.-изд. л. 9,96. Тираж 50 000 экз. Заказ 731. Цена 90 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30